В. Распутин

ВЕК ЖИВИ-ВЕК ЛЮБИ

Век живи-век люби

Валентин Григорьевич Распутин

Аннотация
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ
ЖИВИ И ПОМНИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
ПОЖАР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
РАССКАЗЫ
БАЙКАЛ, БАЙКАЛ...
ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ
ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?
ПРОДЛЕННЫЙ СВЕТ

INFO

Аннотация

В книгу В. Распутина входят повести: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар» и рассказы. Автор исследует важные вопросы добра, справедливости и долга, ставит своих героев в такие жизненные ситуации, которые требуют полного и точного проявления моральных качеств человека.



В. Распутин

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА : 1985

*

Художник А. ЯЦКЕВИЧ

© Оформление и послесловие.
Издательство «Известия», 1985 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Имант Зиедонис,
Мирза Ибрагимов, Юрий Калещук,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Вадим Ковский, Григорий Корабельников,
Георгий Ломидзе, Андрей Лупан,
Юстинас Марцинкявичюс, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,

Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Инна Сергеева, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Константин Щербаков, Камиль Яшен.

ЖИВИ И ПОМНИ



1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в

предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка — легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками? И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре

и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», — упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороженная посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось

выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, — вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба

устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День

был холодный — морозы только еще начинали сдавать, — но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, поделала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибра-

ла при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не

слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

— Господи! Кто это, кто? — крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов — не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб — и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, — стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы,

провозили новости — многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего — от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей — слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» — и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

— Вся деревня занималась разбоем, а захо-

тели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил — не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз,

Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, — без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится — чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да

спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла

с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же, — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить — то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть

все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить — будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом — в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда

Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина — она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибиваясь к старинному правилу: сошлись — надо жить. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлестче. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, еще

не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома — так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

— Какие имеете известия от сына? — строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

— Больше он о себе ничего не сообщал?

— Нет. — Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. — А че такое с им? Где он?

— Вот это мы и хотим выяснить — где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать — сообщите нам. Понятно?

— Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

3

— Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

— Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

— Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

— Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается, — настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

— Искали меня?

— Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

— Отец, мать догадываются про меня?

— Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

— А ты, значит, догадалась?

Она не успела ответить.

— Хлеб ты приносила?

— Я.

Он помолчал.

— Ну вот и встретились, Настена. Встретились, говорю, — с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. — Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. — Он опять больно сдавил ее плечо. — Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

— Понимаю.

— Ну и что?

— Не знаю. — Настена бессильно покачала головой. — Не знаю, Андрей, не спрашивай.

— Не спрашивай… — Дыхание у него опять поднялось и запрыгало. — Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому — убью. Убью — мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У

меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

— Господи! О чем ты говоришь?!

— Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери — к тебе. И никто: ни мать, ни отец — не должен обо мне знать… Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать — скажи сразу.

— Что ты меня пытаешь?! — простонала она. — Чужая я тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и

пресными, ничего не выражающими словами, — после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать — хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы… но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча — в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, — вся эта встреча выходила чересчур неправдашней, бессильной, пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение — Настена вздрогнула и

сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

— Как вы тут хоть жили?

— Тебя ждали, — сказала она.

— Дождались. Дождали-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступаться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

— Может, помоешься?

— Надо помыться, — торопливо и даже как будто обрадованно согласился он. — Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

— Для тебя.

— Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

— Остыла, поди, совсем? — зачем-то спросила она. — Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура

приблизилась к Настене.

— Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полузнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего — ни утешения и ни горечи — она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

— Надо было хоть белье тебе принести, — сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

— Черт с ним, с бельем, — отозвался он. — Я тебе счас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

— Живая.

— Ее обязательно. Спички там, соль, какую-ни-

будь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

— А что я ему скажу про ружье?

— Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься… Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе… Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье — мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно; ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

— Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поласти́ться. Пора собираться.

— Куда ты пойдешь? — спросила Настена.

Он хмыкнул:

— Куда… Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

— Не забуду.

— И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

— Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? — неожиданно спросил он с порога.

— Радая.

— Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

— Нет.

— Кто?

— Муж.

— Вот: муж, — с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно, недальний, пока не упрешься в стену, а поворотить назад уже нельзя… Ничего не выйдет. И то, что обратной дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним сталось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх

— многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила его на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках, провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания,

а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (а до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это

она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу — достаточно, войну не заворотишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу как истукан торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые

берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было^бы спуститься вниз и присоединиться к своим — не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, — скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченый человек. Да неужели и впрямь конченый? Отказываясь, со взыгравшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

— Врете! Выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не сделается — увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды еще до своего отбытия с фронта он не уберегся и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на

всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался — это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей — тут уж либо пан, либо пропал, а подержишься, побережешься, погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, — не лучше и не хуже.

Солдаты ценили его за силушку — коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть — уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступиться, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил — живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят

победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда же им браться, как не из живых — не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило — конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, — лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все — плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддержи-

вая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. «Дней на десять отпустят, — определили Гуськову, — не меньше». Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они, — знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них — особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга, — разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать — и точка. Его выпроводили из

госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной, — этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побыть дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил — не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал — все легче. Она бы и проводила, а когда провожают — надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, — есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не

живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек — почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, — как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, — и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет — туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война — сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй… Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

— А тебе куда? — спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

— В Иркутск.

— Вместе поедем, — обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня — не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше — дня тоже не хватит. И двух не хватит — зима. А возвращаться с полдороги — зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле,

поляне выстроили полк и вывели двоих: одного — самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго — совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его — нет. «Шкура! — говорили. — Ну и шкура! Всех захотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно — вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладень-

кой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза — рано утром и вечером и приносила с собою завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке — кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая, душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять нава-

лившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба. Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только — чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удоволь-

ствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрей, торопливей — он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Оставаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот — те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня — не та, за кого она себя выдает.

Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пу-

стоте. Ехал ненадолго — застрял совсем, думал о Настене — оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай — не расхлебать, кайся — не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна — домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал — не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни,

добрел до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, — то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атама-новки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что

за Ангарой, сюда и в прежние-то годы мало кто заглядывал, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так — Покосным — и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья: одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреев-

ским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще — на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая неспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним сталось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить,

оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего… Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

— Ну и на сколь?

— На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

— Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

— Какие шутки…

— Ас ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

— Нету.

— Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, — он кивнул на печку, где лежала Семеновна, — может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

— Сказали, в последний раз. Для победы.

— Для победы…

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

— Цё, цё она говорит?

— Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними!

Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее. Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской — спущенную цифру подняли, не уронили, — с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

— Нестор Ильич, — даже повеличала, чтобы подольститься, — кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

— Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты — не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучком волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

— Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

— Ты только обратно ее потом отпусти. — И подмигнул Настене. — Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

…Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешенное одеждой; хватится — неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась.

Уходя, он открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. — И попросил дрогнувшим голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, На котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно — Михеич сказал:

— И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

— Седни-то обратно ждать, нет?

— Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

— Но-но. Не седни, дак завтра. — И не утерпел, вспомнил: — Не могла ты вчерась с самого утра куда-нибудь ухлестать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполовину мене язык-то свой высовывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не зна-ют, на кого и вешаться. — Половину букв Семеновна не выговаривала. — Ить он за кошев-

кой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай, — останавливал ее Михеич. — Лежишь — ну и лежи себе, не на-сбирывай что попало. Нашла за кого бояться — за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится-и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей

запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу, — пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука — все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда — деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро было прохладное,

но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отворачивалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике — вперед, Настена! Не бойся, Настена, — вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами — она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой — ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался — все, будто на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво — ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев — вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так сумеет, — вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета,

как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась — давно бы так — и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук — откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею — все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, — и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена

подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей…

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыму, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать. А ведь это только начало — что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

— Ну, здравствуй, что ли, — сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку — его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее неспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился — видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь — и зазвенит, спружинит от любого удара.

Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

— Вот, — с виноватой улыбкой снова начала она, — приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

— У меня теперь все дни черные, — впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно. Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

— Куда ты?

— Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

— Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необхо-

димыми словами, вроде — «возьми» да «подай». Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась — нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

— Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать.

Он в ответ бегло кивнул.

— Это что же получается? — обиделась Настена. — Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

— Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Насте-

на поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

— Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

— Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили — или этого мало?

Он попридерживал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит — вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, — верный, только ей одной известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок — говори, что хочешь, смейся, дури — все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и неохотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей под-

держки и взаимности улыбкой и сказала:

— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

— Почему чудной?

— Да какой-то… — Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. — Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

— Ну и как нечистая сила?

— Ничего. Но свой мужик лучше.

— Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

— Зачем?

— Чтобы не походить на лешего. — Он сказал и тут же одумался. — Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

— Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, — спохватилась Настена. — Приехала тут разговоры разговаривать. — В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. — Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул!

— Никто, говоришь, не колошматил?

— Ну.

— Соскучилась, что ли?

— Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

— Надо хоть чаю поставить, — вспомнил он.

— Ставь — что ты стоишь как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним — так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки — не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится — тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверно, в запыленной бутыли самогонка, ждет, когда ступит Андрей на

отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посудины — из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей

рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекшись на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось — настолько все казалось неправдашним, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

— Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, — неизвестно к чему сказала она. — Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола — она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Чего-чего?

— Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

— Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они — пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, — тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

— Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то

моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто он была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

— Покажи, где ранило-то тебя…

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

— Бедненький… убить хотели… совсем зажило, не болит?

— Сейчас уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так — будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

— Ты не рассердишься, если я усну? — слабым и счастливым голосом спросила она.

— Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, — она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще

при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели — это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще неспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», — зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось

невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пылал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплещистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом. Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезало. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку — Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно

кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту — это всегда помогало ему уснуть, — скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

— Так сладко поспала, — сказала Настена. — Уж и не помню, когда еще так доводилось — на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было…

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

— Возвернись я туда, я бы там и остался. Это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так — не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря — теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.

— Но как, как ты насмелился? — вырвалось у Настены. — Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?

— Не знаю, — не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. — Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал… до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

— Война кончится, — может, простят, — неуве-

ренно сказала Настена.

— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изголялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

— Ну что ты, что ты, — начала Настена, но он перебил ее:

— Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все — хоть убей. А тут ты сегодня обогрела — впору скулить от радости. — Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. — Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. Fla люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумы-

вали, косточки мои перемывали. Не хочу. — Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. — И ты — слышишь, Настена? — и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испугалась Настена и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

— Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

— Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? — спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько

обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

— Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все, как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет — тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

— Ты как-то страшно все время говоришь…

— Не бойся. Я не тебя пугаю — себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

— Что мне говорить…

— Как там мать — ходит?

— Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает — сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

— Отец все в конюховке?

— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней по-

решили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

— Что такое?

— Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как проста: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял — ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

— Стариков пока не бросай, — сказал он и опять затмился, задумался. — Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить нх, поглядеть.

— А как же, Андрей, дальше-то? — несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. — Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война — что им потом думать? У них вся надежа на тебя.

— Надежа, надежа… — он вскочил и заходил по зимовейке. — Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились.

А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был — и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан — тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя — все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда — сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

— Еще неизвестно, что лучше: точно знать — твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать — чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получат — не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет — все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж

я другого не могу им показать. — Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: — Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

— Как же я останусь?

— Еще-то приедешь?

— Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

— Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

Настена вспомнила:

— Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. — Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в углу два холщовых мешочка — с порохом и дробью. — Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

— Мне и половины за глаза достанет, — обрадованно засуетился над мешочками Андрей. — Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! — Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: — С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

— Ну тебя! — не слыша, разволновалась Настена. — Прямо сердце зашлось — до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

— Прибегай, я приучу.

— Да я-то бы каждый день прибегала.

— За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю. Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светящимися, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

— Ой, что за чудовина такая?

— Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого — не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

— Господи, да их в руки брать боязно.

— Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так…

…Настена ехала и плакала — до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать, — все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте — так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Сколько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли — не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и

не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол-языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь — отступиться от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь, — без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий,

что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной… Их если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

— Живые там, он — здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены — как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной, сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд,

березовая нагота и доносило терпким смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было — неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубки, поля, покосы.

По берегу снова шел — не шел, а катил Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские — что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже

верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался — то ли от непогодья, то ли от людей. Скорей всего от людей — зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей, — не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье — свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, таращился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал

тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод… Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно — может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие. Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой.

Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону^ и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подыхающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза — они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было

добротней и просторней нижнего; срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержись, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать,

куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами — вдруг укусишь? — но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал.

Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще — неизвестно. Но находило, схватывало — не отодрать.



Но именно это и тянуло его сюда — как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках, ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалясь, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую, на одном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней — настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл

однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить — по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать», — со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и; словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик — Максим Вологжин. Хотя, если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на

руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика, деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

— А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

— Хоть так повоюет, — со злостью сказала Надька. — Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнес-

ла:

— Не мог мой паразит живым остаться… Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? — вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. — Наклепал ребятишек и… смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? — Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. — Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов — и все, отжила. Пропади оно все пропадом!

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене.

— Слыхала, Максим Вологжин пришел?

— Слыхала.

— Ты там не была?

— Нет.

— Надо бы сходить… может, он знает че про

Андрея.

— Пошел бы ты, штарый, шам — застонала Семеновна. — Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

— А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

— Ой, да делайте, как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего — чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном Утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки

закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, — он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком — это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше — тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось — так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

— Сходи, дева, сходи, — отправлял он Настену. — Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, — принялась она жаловаться Настене. — Ну не прорва ли, не прорва ли — скажи ты мне! И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? — прикрикнула она опять на Лидку. — Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и она же еще ревет, а я виноватая. О-ё-ёй! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось — и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то,

балбес, уж не маленький, — Надька ткнула рукой в сторону Родьки, — должен бы хоть немножко че-то соображать — нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подыхайте, раз так — не жалко.

— Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить, — буркнул от окна Родька.

— Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объедимся. Куда только кости от рыбы девать станем — никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

— Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

— А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядишься.

— Не пойдешь, что ли?

— Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан, — крикнула она на Родьку. — Не-

си дрова да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи навострить. Дома весь вечер будешь сидеть — так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

— С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

— Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то, наказанье божье. Ой, че с них будет, че с них будет? — кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться и самое лучшее — уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильней, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька ни разорялась перед ним. Надоест — сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька — там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку, — Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке

всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало — ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать, — до того сироты и пострадальцы, что у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку, в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уж смерилось, по-

жухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер — ни голоса и ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними, — пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных было людно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он — Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка,

младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

— С возвращением.

И Настена вслед за ней повторила:

— С возвращением.

На лавках вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла — сияло се лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь — сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

— Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень… — всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них — на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

— Ну, Настена, когда ты своего будешь встре-

чать?

Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

— Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой…

— Кто — Андрей потерялся?

— Он в госпитале лежал… тоже раненный. А после его обратно, значит, на фронт. — Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича. — С той поры ни слуху ни духу. Не знаю… Ничего не знаю.

— Ну, найдется.

— Дак это… всерьез потерялся, — взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену. — Тут с расследованием приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

— Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит, — уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно,

порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло — теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке — о том, как она воюет и когда можно ждать там револю-

цию. Максим отвечал неохотно — видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала — пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал — добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

— А ее это… в сторону-то сдвинуть можно?

— Куда в сторону? Зачем?

— Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

— Мешать будет — Лиза отрубит.

— Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, — ухмыляясь, заявил Нестор.

— Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, — взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. — Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор. —

А, бабы? Я куражился?

Бабы молчали.

— Слушай ты ее, — вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой, — толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

— А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

— Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, — важно наставляла Василиса Премудрая. — Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

— Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

— Я не знаю, — наступала Надька, — это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

— Я за Гаврилу спокойная, — насмешливо ответила Василиса.

— Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

— Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

— Ой, глядите-ка, сравнила, — обрадованно зачастила Надька. — Я сорока — ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

— Нет, Надежда, — хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович. — Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько — посылок пять, однако, в этом году было? — обернулся он к Василисе. — Или поболе?

Та замялась!

— Я не считала.

— Она их даже не открывала, — съязвила Надька. — Вместо табуреток держит.

— А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

— Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? — спросила она.

— Ни одной не получала.

— Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

— А мне и не надо никаких посылок, — счастливо засмеялась Лиза. — Я сегодня говорю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

— Значит, загибла бы? — натянуто, с подманкой переспросила Надька.

— Загибла бы, загибла.

— А то руки на себя наложила?

— Ага.

— Чего ты приставляешься, Лиза? — вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся. — Это че же — значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине — всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на

себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, — как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается… Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла. долго собиралась припеваючи жить — дооставлялась. Теперь вся память-то, что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло — нету.

Лиза легко повинилась:

— Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

— Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить — берегись. Не пожалеем — это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

— Не виноватые.

— Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим — понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

— Ему не давали — вот этому.

— Он только пришел.

— Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

— Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

— Ты, что ли, Родион? — глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

— Ну, здорово, что ли. — Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку. — Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? — Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял. — Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

— Смотри, как вырос, — с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

— Они растут, — бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. — Им и война нипочем.

— Скоро она кончится, война-то? — спросила вдруг Лиза. — Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты там — долго еще ждать?

— Для тебя она кончилась, — негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

— Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная

какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видать, а с народом.

— Скоро, бабы, скоро, — ответил Максим. — Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додавят.

— А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

— Заворотят? — Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. — Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

— Четыре года — куда больше? — закивала Василиса Премудрая. — И мы тут поизносились.

Надька не пропустила:

— Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

— Ох, Надежда… Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

— И нам досталось, — подхватила Лиза. — Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа — это ладно, это свое. А только

хлебушек уберем — уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали… А кто без ребят или у кого постарше — с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что — выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешь, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась — сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала — я ручьем заливаюсь, реву. — На глаза у Лизы навернулись слезы. — Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. — Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. — Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу.

— Лиза, Лиза! — останавливая ее, позвал Максим.

— Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. — Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья. — А облигации? — напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. — Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать — только б рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

— Кто из нас, непонятно, — я или ты сегодня мужика дождалася? — спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

— Я, Надька, я. Больше не буду.

— У нас все шиворот-навыворот, — обиженно загудел осоловевший Нестор. — Что за народ! На войну мужиков провожали — пели, а встречаем — как на цохоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых под-

тянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни петь вместе со всеми — как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством — ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимания. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамо-

тей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька — все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя — без этого человек не живет, — то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, — против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину — малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не

кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет — с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается — всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испо-кон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинаньем, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибись, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний

край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло — раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном — жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что, минуту назад, все выдумала — и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей, — выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, огля-

нувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой — предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро

картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом — во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти десять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку — на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй, даже удобней, но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты — женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе — ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с

делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты — того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрей оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет — этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг — видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью — не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно — заглохло, закаменело, и сами они никого также

не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя — не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час — до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит — мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились; уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести — тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, большой же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке

мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе — мощным и длинным гудом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна — март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, — по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро за-

палилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный, — неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него — там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, — дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащилась в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза, — это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее — все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала

дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было надеяться, что ее кто-то услышит, — голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив, — то был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все

то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала — другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение — чем-то еще; она боялась думать, что это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое ли-

цо и только после этого осторожно постучала в окошко:

— Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери, — она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала — это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

— Мог бы встретить, — капризно и запальчиво выкрикнула она сквозь слезы. — Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

— Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

— Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно: приятно и

домовито постреливали горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина — одинственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

— Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

— Что прибежала-то? — снова вскидываясь, передразнила она. — К тебе прибежала — вот что! Он еще спрашивает! — Уже другим, остывшим голосом она ответила: — Ничего не стряслось.

— Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

— Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

— Как крот, — согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: — Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

— Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? — Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать

себя хозяином.

— Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

— Только я на улицу больше ни за что не пойду.

— Сиди, я сам.

Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не ступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину — хорошего, килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.

— Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, — удивилась Настена.

— Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

— Ну, еще бы не фартовая, — с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно

отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком — рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам. Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев.

Хорошо сказано — «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него

было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой.

Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея — его ли? искала и, конечно,

когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала, — пугала и запутывала себя почем зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках. Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завыть.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях — рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещения в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала

о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Уж не бесчувственная ли, не деревянная ли она? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло — еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

— Андрей, знаешь что?

— Что?

Но она передумала:

— Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно, — сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь.

Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей.

— Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

— Ага, послабже.

Он подошел и присел к ней.

— Все еще не согрелась, что ли?

— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти пристала.

— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

— Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи — кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка… — Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

— Отец ни о чем таком не спрашивал?

— Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

— Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

— Придумать-то придумала… — Настена по-

морщилась.

— И что придумала?

— А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

— Тяжело тебе, Настена?

— Да нет. — Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой. — Вот за тебя сердце болит. — Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала. — А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.



— Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

— Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится — наот-дыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать — что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. — Настена чуть помолчала, вдохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: — Забеременела, кажется, я, Андрей.

— Что?! — У него вышло не «что», а с охом: — Что-ох! — Он не усидел, вскочил. — Ты это правду… правду говоришь?

— Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду. — Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому относится.

— Что ж ты молчала? — неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром. — Нас-те-на! — негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за

руку. — Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот… Я знаю… теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба… Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал — ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого… — Он не вскрикивал, он выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее — он говорил для себя и убеждал себя. — Это ж все — никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется.^ Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, погубил родову. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! — Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой: что ж он

о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко — вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее — давно отринутых, оскорбленных, упрятанных и вот теперь освободившихся и оправдавшихся чувств: господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздобрилась и понесла? Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этим «неужели?», — оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась — голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены.

Тело ее, сильное и крепкое, полное нелишней, а своей собственной, здоровой полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее — достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть. Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то счастье — и какое счастье! — но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где же оно, жданное-пережданное, было раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало

с ног на голову… Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое — деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась — может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше — чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать — что, в самом деле, лучше? Оставаться в положении или никогда его не дождаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле

него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо — побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

— А я? — приподымаясь на нарах, спросила Настена. — Как же со мной-то быть? Я же середь людей живу — или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом, был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

— Не знаю, — пожал он плечами. — Плевать нам на все.

— Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

— Что ты такое говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

— Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет,

откроется.

— Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись? — В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

— Помню… как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было — только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостоиной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я вот она какая свиристелка, полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз проклятла — ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! — простонала Насте-

на и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение. — Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет — значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твои мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет — и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом — боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься — ничего не будет. Все от нее зависит. Будет — плохо, и не будет — тоже плохо. Но отказываться от него она

не хотела — нет, жутко немножко казалось ей взять на себя такую тяжесть — отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

— Я не знаю, Андрей, — обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она. — Не знаю, что делать. Растерялась.

— От судьбы, Настена, никуда не уйдешь, — отозвался наконец он. — Хошь делай заделайся поперек ей, а она на своем поставит. — Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: — Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? — Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, навострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жа-

лобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловеческий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно. — Похоже? — спросил он и сам себе ответил: — Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь, какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья — от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

— Да ведь его, может, еще и нет, — слабо возразила Настена. — Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

— На нет и суда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь…

— Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

— Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

— Я разве не хочу, Андрей?! Я разве не хочу! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

— Ты не отказалась от меня, когда увидела, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить — без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья… какая семья?., так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того,

что не совсем же зря я жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упрятке, отсижусь до своего часа.

— Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано.

— Пересудов людских ты боишься… Что они тебе? Люди — как собаки: кто где не так пошевелится — они в шум. Полаяли и перестали — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо прославить. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уже вместе с людьми окажешься. В

первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди… Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей — себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве?

— Я не жалуюсь.

— Что жаловаться — так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружавшие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела.

Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем.

Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог… То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала — и достаточно. Надо потерпеть — на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится — кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и не легко.

Она все еще сторожилась, боялась, как бы он ненароком, забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

— Давно уж, с третьегодняшнего лета, помню я про тебя один сон, — неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому

повороту разговора. — Все там осталось на месте — и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали, — с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок — там недалеко березки стояли — идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, замореннная, босиком — ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

— Это я и была, — удивленно согласилась Настена. — До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы как у мальчишки подстриженные?

— И волосы подстриженные.

— Я.

— Но как же? Раз я тебя такой не видывал — как ты мне в точном обличье явилась?

— Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

— Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало». «Какие, — спрашиваю, — у тебя ребятишки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

— И ушла?

— Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, там с ними замучилась… Я ей посуровей отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне — нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и сквозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

— А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

— Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

— Мог бы пожалеть, не перечить, — вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

— Зачем?

— Ни за чем. Сколько ведь просила. — Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: — У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда

я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежали то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю…

Он приподнялся на локте и уставился на нее.

— Откуда ты знаешь?



— Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! — Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон — такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный — стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: — А меня бабка одна надоумила. Какая бабка — хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребятишках. Если признает, согласится — так тому и быть, откажется — останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

— Приходила.

— И что ты мне сказал?

— Не знаю. Не помню.

— Что-то ведь должен был сказать?

— Наверно, должен.

— Ишь, как! Самого главного-то и не узнали, —

Настена не удержалась, укорила: — Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

— Не хватало еще верить во всякие сны, — неуверенно возразил он.

— Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе наведывалась. Оттого все так и сходится. — Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: — И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

— Нет, ни разу.

— Забылось, может? Перебило чем похлеще… войной этой. Она все под собой топит.

— Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

— А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

— Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там — хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

— Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

— Заговоришь… — Он усмехнулся, закивал себе. — Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от себя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

— У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось.

Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

— А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула, — не то припугнул, не то пожалел Андрей. — Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

— Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.

11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась — нет, она нагрузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась — как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело — достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для

него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом… успеется, споется.

А прояснило, смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей — иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания — даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна — тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой че-

ловек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него были распахнуты. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла, не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну — ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем — веселой и легкой: так и будни короче, и

праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать, — на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом, она, пожалуй, не ошиблась. А счастье… счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед — там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое уже прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь — не одежка, ее по десять раз не примеряют. Что есть — все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже

и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека — кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает — кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя — почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего, в таком случае, ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и недостать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее как нарочно должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное, — да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас — не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот

настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка — об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье — о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось — ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше — больше.

Неужели и впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше — больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось, — это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? Лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок — что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры — неживыми, тряпичными, движения — вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились

откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими — настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

— Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

— Как — чего бы хотела? — не поняла она.

— Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, окромя того, много чего от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоем иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых — больше! Ты из-за него

теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что, — а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю — нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена? — подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

— Что надо? Ничего не надо.

— Вот видишь, ничего не надо, — с готовностью подхватил он, словно другого ответа не ожидал. — Ишь как: мне надо, а тебе — нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной — больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий — я на это и шел,

да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь, найдешь хошь маломальское для меня место? — Несмотря на боль, которая била из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль. — Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься — тонкая она сильно веревочка, того и гляди лопнет.

— Ты что, Андрей?! Ты что?! — испуганно перебила его Настена. — Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще, глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть счас тыщу дел для тебя найду.

— Каких, к примеру?

— Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

— Без меня, ясное дело, было бы лучше.

— А что? Конечно, лучше, — согласилась она. — А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть,

не страдать — ой, как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я — вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо. — Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала — Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я — этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была — неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились — зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что, считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте — вот она я, вот как я отличилася!

— Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала…

— А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое — плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не

отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда — ты бы одну меня виноватой считал?

— А кого еще?

— Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, — вот для чего люди сходятся. Я не могла родить — ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя…

— Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

— Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел — значит, и меня за собой повел. По-другому я

не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. — Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: — Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя. — Настена снова умолкла и снова добавила: — Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

— А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой — и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До этих пор они лежали неподвижно, с одинаково повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращаясь друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала

и до конца говорил с закрытыми глазами — так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

— Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? — сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой. — Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло, — черт его поймет! Но не говорили же — ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть — и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же: руку на тебя поднимал.

— Ты на меня руку не поднимал.

— Не поднимал?

— Нет.

— Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а

кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться — не пойму.

— А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж говорила. И ты за меня не решай.

— Ну, еще бы не хорошо…

— Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь, — досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку. — Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? — Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ. — Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь — там и ладно. Я и тебя-то почти не знала, что это — два или три раза играючи встретились и так же играючи, чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? Вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? Так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди

засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло — Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна — это про меня, — заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой — сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке. — Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: — Ты не Мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя зна-

комая? Ведь знаю же человека, знаю, а откуда, кто — не найду. А потом: господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приводил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась — будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел — ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный — тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары — куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно — как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками — как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить — как закричит дурноматом! Я как вскинусь! — Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула. — А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды — и тот, и другой. За стол без

тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками — отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили — ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору! И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши — все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились — сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили — знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась — не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, ой, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей, — он был как каменный, не показывая себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не смогла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплы-

вало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, столько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

— А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Авдрея, когда пришлось выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с

Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется, Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово — что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было — Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха-хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с коряВым оспяным лицом и в очках с разными — одно много темней другого, — похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежду, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпелись друг к другу,

а здесь все будет внове, и это вполне может сказаться. Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети — подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее надуми что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

— Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную — тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки — р-раз! Ты заметил. «Нет, — говоришь, — давайте из самовара». Она заспорила: мол, это и так из самовара. «Нет, это накапало, — ты говоришь, — это уж не чай, а ополоски». — «Никакие не ополоски». — «Ополоски». Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем

хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает.

Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

— Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе — где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться — сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтоб она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. «Вот за четушкой, — говорит, — так и быть, сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась». — «Бегом-то, — ты ей говоришь, — не беги, успеешь». — «Я-то, — она говорит, — успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти».

Настена засмеялась — тепло, притаенно, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

— А потом мы с тобой весь день ходили, ходили

— где только не побывали, — опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она. — Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было — приехала, и все тут. Нагрянула — куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! — вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. — Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать — так даже Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: «Может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься?» Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет…

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Даль-

ше-то — умора. До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли — она говорит: «Давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я, — говорит, — у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся». Ты дал — отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно. «Магазин, — говорит, — закрыли, а без магазина к подружке идти незачем». Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл — спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступавшую к сердцу, — боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою

память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильней, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился — так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.



Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню — сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание, всегда являлось неожиданно и властно, держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность, — множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взвывали один за другим моторы тягачей,

две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатились вниз, — это было как наваждение. Откуда? Впереди свои! Откуда? На одной и другой батареях послышались крики, заметались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю, — падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподымаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал ко-

мандир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону.

Откуда-то издалека-издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повторяющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой незакрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Ко-ротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ство-

ла — и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое — в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

— Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! — испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

— Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной, Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться.

— Что ты подумал? — Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем. — Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда — так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это — без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не

дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише- значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, — делала, как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей…

Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

— Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! — И, убрав руки, повернул лицо к Настене. — Не ходи больше ко мне, не ходи — слышишь! И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

— Нет уж, — остановила она. — Ты уйдешь, а я? Что со мной будет — ты подумал? Куда я со своей виной? На люди ее не понесешь. Давай уж вместе.

Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война — посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду — сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если, правда, ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок — не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить… я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

— И правильно, правильно, не надо. — Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к окну. — Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем — все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настеной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невмоготу. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть помедли, прогоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы — с присевшими и

разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки, окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та — по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует, и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужицких рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь не был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разняться с ней. Ничего не поделаешь, деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не живать, ему не бывать даже в ней похоронену — значит, нечего понапрасну и томиться, надрывать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, натыкаясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы

лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то ведь когда-то надо было, а что именно — забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина — хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили!» А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина. А что? Отцу с матерью долго не продержаться, а Настена… Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна.

Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно — в куть, сразу за окном курятник, напротив — русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили — дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно — крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот — эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот — и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели — обмершая, распростертая и теплая, собрав

на животе рубашку, с чуть подпухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно силящимся что-то вспомнить, лицом и распущенными волосами, — представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом, — того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все — п она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное», — повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена; окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть — кто: Настена или отец?

Настене пора идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену — кто их там знает! А вдруг мать, взбередившись каким-то неспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли — или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напое-ледок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда — и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба — тоже вон пустила дымок, в ней теперь

Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан — вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась — тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось — прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо — потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты — все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно, — подумал Гуськов, — его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался — Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видеться людям, живой — живым! Нет, тут дело, наверно, в другом, — остановил он себя. — Витя

исполнился, дошел до конца, все знают, что с ним сталось. А что с тобой — никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся — тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет — так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева — издали было не разобрать. «Вот он —

мой отец, — с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей. — Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой, — он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался — перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых

отношений — ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет — справлен во всем, что требуется от родителя, — и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обратает и воспитает, сделает из него то, на что он годится. Надо было — одергивал, нет — оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что — объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному, — потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам — крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо: когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил — лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто

случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра — совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыпоцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работящим народом, особенно женщинами — откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: гражданская война начисто искоренила всю ее родню: отца, мать, трех братьев — всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, изна-

чальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять, — воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней отец любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром, — отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Несторова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял

его, как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животин эта — самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и мертвому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня — и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева, корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело.

Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоявшимся запахом оживающей прели и вони; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задыхался, но задыхался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок — сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод — уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его — стригунок отскочил, оглянулся на конюшню — здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе — и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов памяти состоянии: то не мог понять, почему

он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти — чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и законченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире? Откуда? Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг нее, решая, наверно, надо ли ее прогули-

вать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору — туда, где стоял Андрей. Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидеться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть, а то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело — слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах. Шел он медленно и устало: усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле — больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, двигается лишь по инер-

ции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверное, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не, запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только, что это оно, отцово лицо, с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул

отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.

13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда — он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась — ей пригодится.

Да что там! Он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения, — обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? Смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не за-

метил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь — без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение — пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, протяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая

до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорее уйти от деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо — потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей, — и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и

ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь и идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой — здесь надо держать ухо востро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова

измываться — она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные; губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно. Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял, Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А довелись — зачем бы тебе ее обижать?» — спросил он себя. Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего: назём туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь неспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного — пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это, — ему наплевать. Он имеет право прой-

тись тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было сеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга — там, в прежние годы. Он здесь не чужой — нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо, — поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обутки у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал.

Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье — можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не захочет — надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет, — больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносило отовсюду — с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей посреди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта пытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было бы намного лег-

че, — да не получится: тот, прежний человек все еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго — никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем — никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок, — казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места, — уж не они ли приговорили? Гуськов покосился вокруг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человечьим языком признается — они. Гуськов бодрился, но что-то в

нем подготовлялось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка… — подхватилась неожиданная мысль. — Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если б не она, проклятая, — оправдывался он, — так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет — полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? Столько народу в мире… Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, — чем? — Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился. — Так бы и жил не хуже других, — хватался он за подвернувшуюся мысль, — работал бы, я ж хороший работник — все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности… вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом и обратно в деревню… — Настолько близкой и

вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справить то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним сталось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться. — Это все война, все она, — снова принялся он оправдываться и заклинать. — Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась — на всех сразу! — страшная, страшная кара? И меня, меня туда же, в это пекло, и не на месяц, не на два — на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог, я дю-жил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое

наказанье? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной… Вот вышел сюда, а она уж готовенькая, уж раскисла — слабая… Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил, — повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: — Такая война — а я утекнул! Это ж уметь надо — черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся — вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, взыгрывая каким-то отчаянным, нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глубь.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором сидел, выкатил на дорогу — кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и

в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разогрелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона», путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять опускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи, два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями — в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, которые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада. Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом ото-

рвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов поискал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать — он не мог разобрать. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного тридцать третьего года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили,

не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединенные в целое, беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова, что, если он перебежит к немцам, его обменяют на генерала и не расстреляют, нет — много чести! — а будут казнить три дня и три ночи — ох как будут казнить! То на ничейной полосе там же, на Смоленщине, вдруг появляется атамановская мельница, на которую он определен мельником, и в него, не жалея огня, бьют с обеих сторон — лишь из-за него теперь и продолжается война, и победит в ней тот, кто его подшибет. Затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовет его в свой кабинет пить спирт и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять он на фронте, уже при гаубице; он теряет ящичек с прицелом, и его отдают под трибунал. Длинное-длинное узкое поле, залитое ярким светом прожекторов; он идет по этому полю, задыхаясь от жары, а свет все накаляется и накаляется, синеет и пышет огнем.

Он очнулся, но долго еще сидел без движения, угнетенный и уязвленный этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь: даже сны переменились, даже они, возникающие в нем же, выступают против него. Что спрашивать с остального?

Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее было неблизко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке. Снег в холодном еловом лесу почти и не таял, солнце здесь и на открытых местах было слабей, чем на еланях, на полянах лежали четкие, как вытиснутые, раскрытые тени деревьев. Валенки Гуськова ступали тут уверенней, и он опять приободрился. Он чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, — когда-то он любил бывать на мельнице. А кто не любил? Это была праздничная, веселая, итожная работа — молоть хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оста-

вались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставленные мешки теплая, парная мука.

Гуськова засветили эти воспоминания, он улыбался, душа его, казалось, отогрелась и ублажилась. Но ненадолго: подходя к мельнице, он насторожился, напрягся, выгнул тело вперед и, приостанавливаясь и призывая себя к вниманию, тихонько запрукал губами. Человечьим духом вроде не пахло: и верхняя и нижняя двери были замкнуты, на лестнице, по которой поднимали зерно, лежал снег. Гуськов подождал еще, удерживая себя не торопиться, и от ближних вербных кустов пошагал к двери. Замок на ней, как и раньше, висел для блезиру: Гуськов дернул его — он тут же раскрылся. И правильно сделал — иначе Андрей выдернул бы пробой или выставил раму в окне, но не отступил.

Внутри было холодно и пыльно, на полу оставались от. валенок белые следы. Сначала Гуськов заглянул в каморку мельника и нашел там на полке большую эмалированную кружку, две го-

ловки чесноку и полпачки соли, на стене висела ножовка. Он затолкал все это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошел проводить ревизию всей мельнице. Дважды поднимался он — наверх, обшнырил все углы, все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал, кроме еще одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал: пригодятся.

Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. Долго ли — вон валяется береста, спички есть, постройка давняя, сухая, займется быстро. Он помнил себя, понимал, что нельзя поджигать и что в конце концов он не посмеет поджечь, но дьявольский искус был настолько силен, так хотелось оставить по себе жаркую память, что он, не надеясь больше на свою волю, не доверяя ей, подхватился и заторопился прочь от мельницы, подальше от греха. Лишь возле запруды он на минутку задержался, остановленный сиянием чистого, зеленого стекольного льда, под которым, завораживая и потягивая за собой взгляд, шевелилась вода. Гуськов представил, как на лед, грязня его, стали бы отлетать и с шипением дымить головешки, — что-то в нем с новой силой запросило

этого зрелища, и он ушел — опять в гору, в поля.

Весь день он бродил по еланям, то выходя на открытые места, то прячась в лесу; порой ему до страсти, до злого нетерпения хотелось увидеть людей и чтобы его увидели тоже, увидели и встревожились, что он за человек, затем на него без всякой причины накатывали приступы страха, и он подолгу стоял не двигаясь, не смея пошевелиться. Журчали ручьи, на солнцепеке дымилась земля, вязкие, хмельные запахи кружили голову. От них или от чего-то еще Гуськов угорел: у него полностью выпал большой, в два-три часа, кусок дня после обеда: припоминая потом, где он тогда был и что делал, он ничего не мог ответить, из этого беспамятства доносилось только пение петухов из деревни, надсажающее его душу, да звенела вода. Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше.

Вечером он не рассчитал время и спустился к деревне в поздних сумерках. Но предметы, постройки еще выделялись; он отыскал глазами свою баню и не увидел над ней дыма. Гуськов похолодел: весь деньон почему-то не сомневался, что увидит его, и даже с уверенностью прикиды-

вал — вот сейчас Настена таскает воду, сейчас она растопила каменку… Неужели сорвалось? Кажется, впервые за свою бродячую жизнь Гуськов взмолился богу: «Господи, не оставь. Сделай, господи, так, чтоб баня уже протопилась, — ты можешь, еще не поздно. Сделай только это одно и поступай со мной как знаешь, я со всем соглашусь». Его неожиданно принялась бить крупная, прохватывающая длинными очередями, нервная дрожь и, потрепав, словно внушив что-то, так же неожиданно оставила; после нее тело пронялось занывающей слабостью. Гуськов присел на подвернувшийся пенек и стал дожидаться ночи.

Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей, звуки, изредка слышались голоса, но все это доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как и ранним утром, выстыл опять от чувств, его терзало только одно, самое важное: что с Настеной? Но огни в окнах взволновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, горящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми ногами — пахнуло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа — заныла, поныла и понимающе свернулась. Гуськов отвернулся от

огней и закрыл глаза — в наступающей тьме он походил на корягу.

Потом, когда деревня затихла, он в одно приготовленное, заранее намеченное мгновение решительно поднялся, короткими кивками головы, не тревожа рук, перекрестил себя и зашагал вниз к Ангаре. По льду он дошел до бани, вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер — не столько от осторожности, сколько от важности следующей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что изнутри тянет теплом.

Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча, засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив все кругом, — не отпраздновать тем самым вволюшку своей радости.

О Настене он здесь близко как-то и не вспомнил, ему было достаточно того, что баня горячая.

14

Все — началось. И началось, как Настена ни сторожилась, как ни готовилась к этому, неожиданно.

В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегами складывала наколотое в поленницу. Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда.

Ружья Михеич с собой не брал, оно тут, в версте от деревни, было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича: он взялся наготавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

— Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева

«тулка»? Все перерыл — как скрозь землю провалилась.

Настена, ожидавшая свекра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса, давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы — в другой раз: уж больно неподходящее было время.

— Нигде не видала? — переспросил Михеич, готовый отступиться от нее.

— Видала, — с, дурацкой, растерянной улыбкой призналась Настена и, чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе. — Я ее продала, тятя. — В особенные моменты она называла его, как и Андрей, тятей.

— Продала? Когда продала, кому?

— Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду… Ты тогда обозлился на меня за облигации — и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула, а где их столько взять? А он сам: посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала… уговорил.

— Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто

уговорил? Ниче не пойму.

— Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю, помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает, она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились — и ладно.

— Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

— С собой. Думаю, ну как обратно в темноте придется ехать… боязно.

— И продала?

— Продала.

Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, к Настене, глаза непонимающе мигали.

— Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь? — все еще не хотел он поверить.

— Правду. Сразу надо было… все откладывала, боялась.

— А ты как думаешь: Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

— Придет — наживем, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя.

— Наживем… — повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь скорей всего не с Настеной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного, окончательного решения эту мысль, и вспомнил, спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать… — Ну и… за сколь продала?

Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

— Счас, — пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступке. — Вот, — протянула ему Настена часы.

Свекор отшатнулся от них и поднялся на ноги.

— Это… че тако? — опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось.

— Часы. Это часы, — заторопилась Настена объяснять. — Я его, ружье-то, не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особенные, иностранные, их шибко ценят. Ты погляди, они на трех стрелках. — Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала

не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу. — Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты… и всегда правильно показывают, не врут. — Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно. — А в темноте они светятся, вот эти точечки прямо белым огнем горят, все видно, — со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла.

— Ружье — на часы, на игрушку, — приходя в себя, проговорил свекор. — Ну и ну.

— Часы легче продать… Ружья здесь у каждого, а часы… да еще такие часы… Их с руками оторвут, только покажи.

— Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко он ходит. «В темноте светятся», — озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов, и сплюнул — А на что он мне, этот свет? Вшей при ем бить?

— Иннокентий Иванович купит, — не сдавалась Настена. — Я знаю, они поглянутся ему, он

любит такое — только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи рублей выпрашивал, — ввернула она для убедительности. — Да еще как выпрашивал…

— За сколь, за сколь?

— За две тыщи.

— Ну и че не отдала, если такой дурак находился?

— Они, может, побольше стоят.

— Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тыщи рублев… Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. Ладно, — обрезал он, — пойдем. И так сколь потеряли из-за твоих часов. Порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их с глаз моих, убери, христа ради.

Они пошли. Но Настена предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему, — слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а, взбередившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня, она надеялась, миновало, теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна

пропажа — худо ли, хорошо ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче — до того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке — в приплоде.

Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось.

На месте они сразу, не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое — выбирали полегче, но пила почему-то шла вязко и забирала много силы; Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек — он блеснул и погас, но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла еще и еще. Она сорвала один и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду, но мысль эта, дразня, так и не далась Настене, ускользнула от нее. Подошел, накашляв-шись, Михеич, и Настена показала ему:

— Гляди, новая травка уж полезла. Впервой

нынче вижу.

Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что заговорила: выходило, что она подлизывалась к свекру, пытаясь травкой замять свою вину.

День стоял светлый, но неяркий и тихий — какой-то сонный. И это при солнце на небе; солнце, казалось, истончилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки.

Сосна под пилой наконец хрустнула, верхушка ее дернулась, замерла еще в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла — пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настеной отскочили в сторону. Комель провернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул — высоко в воздух подскочила оборванная ветка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошел обрубать сучья, Настена, как всегда, стаскивала их в одну кучу.

Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил:

— Ты, Настена, правда не знаешь, где Андрей?

Вот этого она не ожидала — чего угодно, но только не этого; тут было от чего испугаться.

— Андрей? — вскинулась она, и страх удачно подыграл ее удивлению. — А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

— Не знаешь, значит?

— Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем.

Он смотрел на нее пристально и мучительно — не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, по тому, как она держится, понять, что ей известно.

— Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это… скажи, Настена. Мне одному скажи. Не скрой.

— А что говорить-то? — опомнившись, она стала отвечать уверенней. — Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты.

— Да я спросил только… А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

— Какая не такая? — с осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена.

— Вроде как сама не в себе. Может, показалось… Но я ни в жисть не подумал бы, что ты без спросу ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется — окромя ружья видать. Как вроде че-то ты все время боишься… торопишься все время… Может, ты уйти от нас собираешься?

— Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните, — искренне, со своей затаенной искренностью отозвалась она. — Скоро кончится, поди, война — что-то будет.

— Где от он?

— Я не знаю, где он, я сказала.

— Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.

Они взялись опять за пилу; Настена водила ее вперед и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свекра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж одно то; что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулили ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней, — невольно станет следить, если даже сейчас поверил, потому что от подозрения так просто не отделаешься: оно, появившись, существует самостоятельно,

и это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над. ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать, что осторожничать, если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья, — эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится, ее воображения на это не хватало; то, что должно было свалиться, не с чем было сравнить, его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая, пока не обнаружится всенародно, что с ней, пока не ткнут в нее пальцем и не спросят, — и тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет, — только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил, она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких, и боясь в то же время, что тут, кроме сил и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверное, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удач-

ными они ни были? Не слишком ли большой принимает он грех? Больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать.

В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед — один ответ. Смирись он с этим — пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настена пожалела Михеича. Она наперед увидела, как он испуганно замер, с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать, — нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению, убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мнится. Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея — этого она позволить не имела права: любой намек, любая неосторожность были ей запрещены.

Они распилили сосну и собрались уходить: времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз; в одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц; узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настена всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как до нее достают колючие холодящие лучи месяца.

Перед уходом Михеич присел на чурку, и Настена насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась; Настена не хотела, чтобы он-подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся; Настена вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.

Убираясь по хозяйству, домашничая, Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной оторопью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорей всего только насторожил, — что человек,

о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который, как нарочно, делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные, разные, чужие друг другу куски, — что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно, страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго, и игриво послушный: при желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не приспело, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала, с ней Настена справиться не могла. Она видела, что жизнь ее сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть; тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами — тут невозможно оставаться спокойной. Настена упрекала в этом себя: значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы, не сумела убедить Михеича, что она все та же открытая послушная душа…

Не находя себе места, Настена ждала, когда свекор вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет, ей необходимо

было находиться рядом с ним — даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путаных опасений. Она надеялась, что, будь у Михеича что на уме, он не вытерпит и скажет, а хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек не скрытный, не хитрый, любит договаривать до конца.

Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уж в потемках, поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке.

У Надьки ужинали, вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой поделенная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, четыре штучки, перед Петькой пять, перед Родькой и матерью — по шесть. И по ломтю хлеба. Настену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и подсела к Лидке. На Лидку было больно смотреть: она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Лидкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли: когда это кончится? Когда

выправится нормальная, зависящая от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то геенны огненной, жизнь? Когда хоть ребятишки станут питаться досыта? Они-то в чем виноваты?

Все с той же бешеной скоростью Лидка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами.

Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю.

— Пей чай и ложись, — подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.

Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коврига, и, хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно^ с подначкой, сказала:

— В дети не хочешь взять?

— Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу — ты же не знаешь.

Ответила так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда Надька заметит неладное, она припомнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть.

— Че ж ты раньше не рожала? — резонно спросила Надька.

— Не хотела.

— Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет, — так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы.

Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре — ее конца, никого к себе не подпускает — ни Витю, ни кого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула.

— Куда мне, — согласилась она. — Это ж какое терпенье надо! Мне волю дай, я бы каждый год их таскала. И еще на второго оставалось бы по три месяца — я удобристая, с первого раза завожусь.

У меня всегда все наготове. Не то что у некоторых, — не утерпев, кольнула она Настену. — Мне если б не беречься, я бы тут цельный ребятник развела — успевай только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя: захочу — выберу, не захочу — оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то сбила, я бы ему, капиталисту бабьему, показала, где раки зимуют. Что это, правда, за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос утерла. — Надька издевалась над собой, наговаривала на себя, но, издеваясь, и гордилась: она свой бабий долг исполнила, этого у нее не отнимешь. Раньше Настену, наверно, задело бы Надькино хвастовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать.

Лидка, приласкавшись к Настене, уснула; Настене и спящую ее держать доставляло удовольствие, ей чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда.

Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил

Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки, но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась: уперев костыли в подмышки, она почему-то как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги, — заступала, хваталась руками за что попало и принималась охать и причитать.

— Ты попеременке, попеременке их двигай, — наставлял Михеич. — Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж торопись.

— Гошподи! — стонала Семеновна. — За што мне такое муценье на штарошти лет? Пожалей хоть ты меня, прешвятая богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, што до могилки я и без его коштылей доеду. Ты хошь в гроб-то их ко мне не клади, — набрасывалась она на Михеича, — не позорь меня там. Ить надо же: дошпел, ш пецки меня шнял: иди. Куды иди? Ку-ды иди?

— Ну, посиди, посиди, — усаживал он ее на топчан. — Отдохни, раз пристала, че ж. Ноги-то

болят?

— Как же не болят? Как же не болят? Огнем горячим полыхают. Гошподи… не болят, говорит.

Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем — не спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги.

— Ну, че, старая, дальше поедем? — окликнул ее Михеич.

— Доконать меня хочешь? — со слезливым вызовом в голосе спросила она.

— Ага.

— Давай доканывай. Не жалей.

Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься: сначала снялась с топчана, привстав на согнутые, как сидела, ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подсунул ей опять под мышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны. Но Семеновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для нее ходьбе: опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперед и переваливалась на него. В ее голосе, как у ребенка, впервые овладевшего тем же ремеслом, послышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала:

— Ну-к отойдите, не держите. Шама.

Она прошла по горнице из угла в угол, долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно приохивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семеновна устало согласилась:

— Нице, годятша ноги рашхаживать. Их когда рашходишь-то, на их приштупать можно.

— Ну от, — весело сказал Михеич. — А то на двоих одна моя нога — далеко ли мы так с тобой

ускачем? То ли дело теперь: три здоровых, две лечить, поди-ка, можно, да одна в запасе.

— Ох, увидал бы меня Андрюшка, как я коштыляю, уж он бы пошмеялша… Ох и правда, кому шмех, кому грех.

— Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя, — с какой-то особой — теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настене не случайной, сказал Михеич. — Хошь и на костылях, а шевелиться надо.

Настена почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для свекра он напрасно не прошел, свекор что-то понял, что-то решил, — что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему? Почему?

— А лето придет, ноги твои, глядишь, ишо отогреются, побегут, — подбадривал он старуху.

А она отзывалась:

— Хорошо бы, ох, хорошо бы напошледок.

— Помнишь, как ты раньше поперед всех взбегала на елань?

— Помню… как не помню… Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня.

Настена вздрогнула: давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свекра зовут Федором; имя это случайным отзвуком донеслось из далекой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков — они, занятые воспоминаниями, молчали.

И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно-несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать — горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась: плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

— Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?

— За ружье? — Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит. — Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье…

И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.

15

В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине — коврига хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки, — старые ичиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость постановил себе курить до

трех, а поздней и до двух закруток в день — утром и вечером.

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, хотя и нетрудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом, лесу — самая унылая и неприглядная пора, как известно, — промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и затхлостью, каких осенью не бывает.

Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние — идти, двигаться куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадается по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял, и стрелять было

некого: зверь в апреле — мае бережется как никогда старательно, а глухариных токов поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей налетало мало.

Чем ближе подступало лето, чем теплей становилось, тем больше проявлялась в Гуськове страсть искать снег — те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих, темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокрящимися ошметками снега и с неподвижной, тяжелой думью прощался с ним, веря, что нового снега ему не видывать. Он готовил себя к тому, что идет по последнему кругу и круг этот скоро замкнется: он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним: они здесь были в одно время, и снег, лед — это также последнее, что ему суждено проводить, все остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования. Этим поворотом станет день, когда вскроется Ангара и когда он переберется в верхнее зимовье. Он уже подготовил его, даже перенес туда кой-какие шмутки,

без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде — именно тогда, в праздник реки и всего, что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду — то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! Другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди, и вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето, — а что дальше? Он достанет Настенин подкладыш — четушку самогонки и, глядя на освободившуюся бешеную Ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду, отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу, и доспеет одно-единственное немудреное, светленькое, как окошко, чувство: я есть, что бы там завтра ни случилось, а сегодня я есть. Он наперед знал, что так оно и будет, и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет.

Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его, он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь. И чем ярче сияла луна, тем неспокойней, удушливей ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну — полную, нескончаемую, без всходов и закатов, неподвижную на низком и плоском, как потолок, небе и почему-то дымящуюся.

Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную тень и подолгу смотрел на лед, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лед изнурялся: его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным, чиркающим свистом пробегали трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзи на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальное одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт: ему чудилось, что он слышит, как поет на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю Ангары,

пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал, чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон.

Остальной сон он научился добирать днем, устроившись где-нибудь в лесу под солнцем. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался, а потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался: куда теперь? Этот вопрос стоял перед ним постоянно, чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести.

Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячьей, а просто бессмысленной блажной забавы, будто идет за кем-то по пятам или, наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью. В такие минуты ему словно бы застило память, он отказывался верить, что был на войне

и жил среди людей, а казалось, что всегда так вот один и шатался, не имея ни дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована.

Он постоянно хотел есть, и все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным; его домогал даже воздух, сосущий и острый — слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы.

Накануне мая он собрался в поход вверх по Ангаре, где можно было стрелять. Снарядился как следует: кроме ружья, взял с собой топор и на всякий случай мешок — при ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днем эта вылазка не обойдется, ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей, а до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее, но пойти подмывало, приспичил какой-то неуемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся, их собой. А может, и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри

себя неспокойную, требовательную пустоту и повернуть восвояси обратно. Идти к Рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался, лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится?!

Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда остров торчал сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет. Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему, запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так, он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут

пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться, забираться в глухой чащобник — он как бы прятал себя по частям, по долям то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла ему не поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по крупицам.

Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозрачненькой зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потартает вниз — во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет Ангара — и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и

засветит, запылает — не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба. Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение: надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевелящейся полыньи, и двинулся дальше.

По дороге он подстрелил кедровку. Заряда на нее было жалко, но Гуськов знал, что к вечеру он промнется не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше.

Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине Ангары, а, напротив, повернул от нее в гору и, как ни устал, как ни намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся, но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, продвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны.

И опять он услышал крики петухов и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно: даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке, они здесь действительно пели, а не горланили что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район.

На западе, на фронтовых дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может, хитрей ангарских, но оказывается, что и на Ангаре они голосят по-разному.

Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на поскотину, верхняя городьба которой неровно и дыряво виляла через березник. Городили, похоже, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям — и провисли, поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба — придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево, где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба, и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя и других; в нем начинала разогреваться накопившаяся дурная кровь, взыгрывать неопределенные поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст — не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад.

Нет, следовало найти то, ради чего он затеял

весь этот поход.

Неподалеку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на поскотине за черемуховым кустом корову — крупную, пегую, в больших черных пятнах на белом или, наоборот, в белых на черном; он потому и не разглядел ее раньше, что она была под рябь березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пасся теленок — маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и знай тыкался в ее вымя, а она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым комолым лбом.

Гуськов следил за ними с тем же особенным, пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе, когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось, и, похоже, не зря: он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дела с домашним,

полезным человеку скотом, и, отлученный от него, он тянулся к нему тем сильней, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нем не хотело с нею мириться.

Корове, конечно, случайно удалось увести телка со двора: ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова ни отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся, ему показалось, что не кто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся: долби ее, долби, вытягивай все до последней капли, — будет о чем твоей хозяйке вечером поговорить.

Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждало какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шел. По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно становилось все неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей

делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь.

Он тронулся осторожно вдоль изгороди, часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни, и только он открылся, донеслись звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня не простой день, что сегодня праздник — Первое мая. Ишь как: справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют, вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, к вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку — нет, видать, ничем не прошибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида — что теперь обижаться! — а взяло какое-то недоверчивое удивление: празднуют. Как до войны, будто ее и не было. И наплевать им на то, что он бродит поблизости, он тут для них не существует.

Теперь понятно, как удалось теленку вырваться из загородки на свободу. Гуляют. Все мелкие заботы сегодня ничего не значат: у людей праздник. Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше

и снова оглянулся, всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Теленок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся теперь уже на деревню — дорога к поскотине была пуста — и решительно повернул назад.

Солнце поднялось высоко, в чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угасла и гармошка, все звуки слились в одно широкое и просторное, бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезать, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрав по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корове, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору, — она послушно пошла. Теленок — это был бычок с короткими

тупыми рожками — жался к матери. Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне, — хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше.

Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и повернуть назад; бычок, почуяв неладное, не отставал от нее. Корова дышала тяжело, бока ее раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружье за спиной мешало, он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до речки все еще было далеко.

Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью; корова затравленно мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки.

Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше

бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ременную петлю на телка, и не успевал. Злость у человека перешла в ярость, он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой, и только боязнь выдать себя удерживала его.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова, мыча, побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые сдавленные звуки, похожие на мяуканье.

Перед речкой Гуськов остановился отдохнуть, он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла, она отбегала и останавливалась, а

потом, едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно, отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постанывал; он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятьем, чутьем — всем, что в нем было.

Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше. Он решил перебраться через речку, надеясь, что лед задержит корову. Нет, не задержал: не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лед, ноги ее разъехались — неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла — так, на коленях, поползла, — не поползла, а покатилась к другому берегу. Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом — отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег.

Они были теперь от деревни верстах в трех — не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрятней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса

топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от нее. Возвращаясь обратно, человек увидел, что теленок лежит, — он так обессилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову — быстро и точно, с мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. Хватит с него на сегодня одного убийства — иначе можно и подавиться.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его, в свою очередь, боязливо следить за ней, и изредка, слабо, со стоном взмыкивала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гуськова стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьем. Перед тем как уходить, Гуськов в последний раз огля-

нулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он увидел угрозу — какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти.

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих пор прочно и властно.

А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался: кончилась война.

16

Кончилась война.

Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.

Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц,

как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла, но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже.

И день, хмурившийся с утра, тоже распраздничался: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.

Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив, в чем дело, кинулась выпрягать коня. Настена — за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся, Настена с ходу влетела в избу, всполошив стариков: испуганно приподнялась навстречу ей с лавки

Семеновна, круто обернулся от окна Михеич — растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тотчас запнулась у порога: куда она так бежит, что хочет сказать им?

— Слышим: палят, — стала объяснять она и без того понятное. И натянуто, слепо, словно перебившись чем-то, закончила: — Догадались.

— Гошподи! — взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ. — Ужели вправду дождалишь? Теперь, поди-ка, должны шказать, где Андрюшка-то наш?

— Должны, старая, должны, — отозвался Михеич, осторожно глянув на Настену.

— Теперь вшех по домам рашпуштят… по материм, по женам…

— Сразу всех распускать нельзя.

— Пошто нельзя?

— Пошто… Мало ли что может произойти. Без войска не положено.

— Ав той войне вот так вот шпокой не объявляли, — вспомнила, помолчав, Семеновна. — Никто не знал, концилашь, не концилашь… Германца брошили, промежду шобой шхватилишь, да ишо тошней того. Так боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою.

Настена прошла в свою боковушку и переоделась. Душа ее, взлетев и возликовав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, но что-то удерживало, наговаривало, что это не ее день, не

ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная, куда приткнуться, Настена прилегла с краю на кровать и привычно ощупала живот, но не приникая к нему чувством, а забывчиво, потерянно — просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем.

Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

— Из Карды… который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет… В кои-то веки…

— Лю-у-ди! — вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки. — Выходи все на де-мон-стра-рацию! Гитлер

капут! — Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше:

Наша поступь твер-р-да,
И вр-рагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

И крик этот, песня, случайная, запоздалая для нынешнего дня, еще больше занозили и натянули Настенино сердце; горячась и болея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настена вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение, но, чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью: из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потошней, — за себя потошней, и, тотчас опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым, злым чувством, пожалела его и вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе: два сапога — пара, от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь

они двое оказались в сторонке. «Ничего не в сторонке, — обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям. — Что я — не работала всю войну, не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? Счас возьму и пойду. Возьму и пойду», — подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям.

И она действительно дождалась его. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неуемный гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:

— Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! Михеич! Где ты? Настена!

— Но-но, — отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну. — Че так орешь?

— На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету — тащите с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалей. Тарасун, говорю, тащи — понятно?

— Понятно, понятно, — заворчал Михеич. — Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил.

Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

— Ой, дикошарый, — испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна. — У их, у агаповшких, вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

— Иди, Настена, — сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. — И тарасун есть. Иди, — вскидываясь, решительней повторил он. — Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома сидеть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской — доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй. Иди.

— Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? — вмешалась Семеновна.

— Андрюшка придет — найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, доставай.

Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит: по ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от нее, не от Настены, и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры

не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею; все, может, на час, на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один. Недели и месяцы один. А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не может того быть, чтоб не заслужила!

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, по-старушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы.

Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гама

парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный, особый звук — сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хорошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется, — на крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели. Подгадали: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали, — надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и знают, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий.

И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление чем ни попало, теми же ласточками, а пуще всего — желание показать, что она не хуже

других и что она ничего не боится.

Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики — Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведенная для приемыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида, протапливалась и знала уход: на подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески. Да и нельзя было понять как следует, какую половину избрали теперь старики: люди у них бывали редко, Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть-попить, в чем выйти на люди. Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден, и другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежонка подростка.

Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович — помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косово-

ротки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию Ивановичу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом.

— Иннокентий Иванович, дождались! — крикнула она.

— Дождались, — степенно ответил он и спросил: — Нету известий от твоего?

— Нету, — хохотнув и смело заглядывая ему в глаза, ответила она. — Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полсловечка.

И, подумав, добавила:

— Может, ты знаешь, где он, — скажи?

Иннокентий Иванович отшатнулся.

— Я-то откуда буду знать? — изумился он. — Чудишь ты, бабонька, чего-то.

— Если что — говори, Иннокентий Иванович, не скрой, — подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком. — А я — тебе скажу. Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу.

Во дворе избы-читальни горели огни и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели,

позволил по случаю Победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой — не жалели ничего, несли последнее. Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяривал во всю ивановскую патефон, возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькина Лидка. Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки.

— Дождались, Надька? — со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза.

Настена нашла Лизу Вологжину и обняла ее.

— Ты че, Настена, ты че, — забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настене красное от огня и спокойное лицо. — Радая?

— Радая.

— Ждешь своего Андрея?

— Жду.

Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, и он, сконфуженный и довольный, закричал:

— Кто еще? Подходи, пока Лиза добрая.

— Я те дам добрая! — отозвалась Лиза полушутли-во-полусердито. — Я только Настене позволила, да и то взаймы, до Андрея, а боле никому.

Настена тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая: «Дождались?» — ничего больше она сказать не могла. Но в этот день все было кстати. Она обнимала, и обнимали ее, она показывала слезы, и ей отвечали слезами; она принималась смеяться — ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной и надорванные, задер-

ганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные, — чувства ее отказали ей, и она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать, а не спрашивать, послушно пошла туда, куда ее повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила: почему-то казалось, что этот день — последний, когда она может быть вместе с людьми, завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте.

Сели за столы. Максим Вологжин по праву — и как фронтовик, и как председатель — занял первое место. По одну руку от него пристроился, конечно, Нестор, по другую — нарочный из Карды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающий ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся.

— Люди! — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. — Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не придумали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали

спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит… — Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его. — Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали, и не было бы счас этого дня. Великая наша страна, огромадная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь подмогали. Поднимемся, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

Застолье поднялось и, звякнув стаканами, охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше

всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой, в разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы непонимающе, что происходит, почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней. Для ее жизни, как и для любой жизни, нужен был мир, но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и ясней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других.

Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

Кто-то ласково осудил его:

— Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?

— А он это… не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбредет…

— Я придумал?! — расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы. — Я придумал? — спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом. — Вы че это? Вы че это?! — сильней выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал го-

лос. — Кто посмеет, чтоб придумать! Вы думаете, об чем говорите?! Я к вам скакал… чтоб знали. От своего народа ускакал. Ну, спасибо… Да у кого зла хватит, чтобы придумать? Вы че это?

Его кинулись успокаивать:

— Да нет, нет, не придумал… Не видно, что ли?

— Кто же, правда, на такое решится?

— Да он приехал-то трезвый. Ему, поди-ка, здесь уж на радостях подали.

— Че зря наговаривать на человека… Шутка ли — двадцать верст отмахал.

— Налейте ему, пускай выпьет, пускай простит нас, бессовестных. И верно, бессовестные какие…

И нарочный, выпив, простил, стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку.

— А у нас-то все знают, нет? — громко спросил Максим, потому что шум нарастал.

— Все-е — как не все!

— Такую пальбу открыли — тут мертвые и то узнали.

— А дедушка-то? — вдруг вспомнив, вскинулась Лиза. — Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает!

— Дак он выстрелы-то, поди-ка, слыхал?

— Че он слыхал! Он совсем глухой.

— Ой, дедушка-то и правда все еще воюет.

— Надо послать за ним — нехорошо.

Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «исполнить свой долг до последнего человека — до дедушки», но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседланным и стоял на дворе, за ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку:

— Вы только там ему ниче не говорите. Сюда везите.

— Вяжите и везите.

— Не вздумайте вязать. Ишо помрет.

Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусла, за которым бегали домой к Иннокентию Ивановичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо — тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.

— Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся, — крик-

нул веселый, с красным лицом Максим, поддергивая раненую руку. — Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики…

— Кому приходить-то? — негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой.

— Ну… — замялся Максим, — кто-нибудь придет…

— По моим сведениям, — поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович, — должно прийти шесть человек. — Он отыскал за столом Настену. — Это с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший.

— Кто да кто еще?

— Да что мы, не знаем кто? Чего спрашивать!

Но Иннокентий Иванович взялся перечислять.

— А моего почему не считаешь? — заговорила вдруг Надька, когда он кончил, заговорила сразу, как сорвавшись, требовательно и зло. — Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

— Потому что ты извещение получала. — Непросто было сбить с толку Иннокентия Ивановича, он знал, что отвечать.

— Ну и что, что получала? А ты считай. Он придет. Я говорю: он придет, — с вызовом обращаясь ко всем, накалялась Надька. — Вот увидите. Не

надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь — так и говори.

— Тогда и мой придет, — глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова.

— Про твоего не знаю, а мой придет.

Бабы неловко заговорили:

— А что — все бывает… Он в Карде у сватьи Настасьи…

— А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог… Вот и верь.

И в этот момент привезли мельника, дедушку Степана. Нестор ввел его в дверь под ружьем, с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях, глазами, не выказав ни удивления и пи страха — ничего, будто то, что увидел, и собирался здесь застать.

Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

— Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.

— Дурак ты, Нестор, — опомнилась первой

Надька. — И как мы с таким дураком не пропали?

— Дедушка! — в десять голосов ахнули люди.

К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг Друга:

— Дедушка, война кончилась!

— Дедушка, миленький, где ж ты был?

— А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.

— Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!

Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в Атамановке узнал от них, что случилось, они наконец поверили и сами: кончилась война.

17

Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич, как нарочно, не торопился. Его шитик, даже и не заваренный еще, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась: нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Но и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужику, она больше не могла. Ей казалось, что теперь, раз кончилась война, вот-вот должно что-то решиться в его судьбе, а значит, и в ее судьбе тоже, — поэтому надо, не медля, повидать мужика, понять, что настроен он делать, куда кинуться. За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова была на крыльях лететь к нему, чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из земли трава и оплывают зеленью леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое другое

время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой сотворить. И сны ей снились тревожные, неразборчивые, не под разгад: то будто кто-то щекочет ее, кто-то неизвестный, невидимый, и она, заливаясь от смеха и ерзая на бегу, мчится со всех ног в постель, чтобы спрятаться под одеяло; то она разговариваете коровой Майкой, и корова умно и дельно ей отвечает; то самое себя, маленькую еще, жившую под Иркутском, она, взрослая и замужняя, учит плавать в Ангаре; то что-нибудь еще. Настена просыпалась от этих снов с бьющимся, прыгающим сердцем, подолгу лежала неподвижно, боясь пошевелиться и все думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя — эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до

конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват — кто говорит, что не виноват! — но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?

Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме.

Живот у Настены раздался, и когда она перед ночью оголяла его, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Настена замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесно самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все — и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и

он немного пугал Настену: если б девочка, была бы надежда, что пойдут еще дети, родные по отцу и матери братья и сестры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознавала, где она есть и что с ней происходит. Она боялась того дня, когда откроется беременность, но, боясь, и хотела, чтоб он скорей наступил — тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она носит в себе ребенка. Да и ожидание этого дня измучило Настену. При ее полноте не заметят еще, может, с месяц, а потом сразу ахнут. Все чаще Настене представлялось, что ее с силой затягивает в какую-то узкую горловину и будет затягивать до тех пор, пока можно дышать, а затем, придавленную, задыхающуюся, полуживую, в последний момент куда-то вынесет. Вот заглянуть в эту новую жизнь ей не удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой.

Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду

Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком красноярье. Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокентия Ивановича вот величали, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого не прикладывался — до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Атамановки не выглядывал. Жил он от колхоза самостоятельно, но в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крючить горох — то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено.

Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.

— Силенки нонче совсем не стало-ка, — объяснил он. — Не справлюся один. А без спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет.

Настена пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась: вот и надо было вызваться к деду Матвею, там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала? Не умея плавать, Настена, правда, боялась работы на воде, но как-нибудь один день, наверно, перемогла, перетерпела бы свой страх. Того ли ей сейчас следует бояться?

Она подошла к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западающий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но течение там казалось много сильней и туже, чем на освещенной половине. А на солнце вода ярко, слепя глаза, играла блестками, словно отвлекаясь, кружась и задерживаясь в движении. Часто и весело, с каким-то своим восторгом плавилась рыба — от самой маленькой, отчаянно выскакивающей в воздух, разогнавшись, подряд по нескольку раз и смыкающей за собой круги в кружевную лестницу, до большой, взрывающей где-то вдали воду изнутри с солидным и довольным чмокающим звуком. Под яром лежал еще лед — колючий, дырявый и грязный, от него, пробив в песке и камнях дорожки, струились ручейки. По берегу носились суетливые, быстрые и верт-

лявые, с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь — плитками. Так же и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там — мальки, а здесь — омулявки, как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались вглубь, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к берегу. Со свистом проносились над головой Настены стрижи, остро пахло, забивая дыхание сыростью; лениво чавкала слабая, изнутри себя берущая волна, потому что в воздухе было тихо, сморенно; издали, с верхнего мыса Покосного острова, доносился шум воды. Тень наступала, ее движение видно стало глазом, и, едва зашло солнце, протянул, словно закрывая день, и опять затих ветерок. Теперь уж вся Ангара от берега и до берега побежала быстрей; Настена с детства верила, что в темноте течение сильней, торопливей, чем на свету.

Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. На каменишнике стояли приготовленные для сплава сияющие свежей краской бакены

— три красных и два белых. Настена спустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

— Ну что, дедушка, — сразу спросила она, — кого тебе Максим на помощь Дал?

— Дак кого дал… — Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лодки. — Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка права. — Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами. — Фитиль, паря, где-то-ка посеял, — объяснил он. — Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить только в руках держал — куды от он запрыгнул?

Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман.

— Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напроть релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от

надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хужей всех было.

— А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу, — сказала Настена, оглядываясь опять на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

— Но, — осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене. — Почему-ка не взять, коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

— Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сю пору на суху.

— Дак талины я тебе подсоблю нарезать — эко дело!

— Нет, нет, дедушка, — испугалась Настена. — Я сама. Не торопясь. — И чтоб он не заметил ее страха, добавила: — Ну, там видно будет…

— Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? — Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел. — А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько.

Придешь, не омманешь?

— Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше. Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту, уж надоело — все отдохну немножко.

— А, ну-ну. Это конешное дело. Скажу, как велишь.

И весь день Настена провела на реке. Снарядились чуть свет, по холодной еще свежести и глухой, сонной тишине, в которой слышался только все тот же дальний шум воды на перекате да едва различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой, маслянисто отсвечивая, протаскивало воду. Поплыли в большой, как баркас, устойчивой лодке, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый, неуклюжий бакен. Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей в корме за одноручное весло. Отвернули от берега, и с этих пор Настена старалась на воду не смотреть, уставившись глазами себе под ноги и боясь думать о том, что скоро придется подниматься в лодке в рост и что-то делать, как-то помогать деду Матвею.

С этим, первым, бакеном помаялись порядочно. Перегребая, промахнулись и оказались ниже, чем надо, а все попытки хоть немного подняться против течения посреди реки ни к чему не привели. Да и смешно было на это» надеяться. Вода тут неслась мощным, туго натянутым гудящим потоком, перехлестывая брызги через борт. Выругав себя за дурость, дед Матвей сдался. Погребли к берегу, теперь уже к левому, который был ближе и на который Настена больше всего и стремилась попасть — да не так, не с бакеном, не с дедом. И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, уговорить деда Матвея приехать за ней под вечер — тогда бы и установили они этот проклятый бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддергивать его, чтобы снесло. Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. Установив как надо бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

— Этот-ка самый чижолый, — признался он. — Я и зажигать, и гасить его поперед всех плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу.

И действительно, второй бакен поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

— Хватит. Уговор был на два, — весело, и без того довольный сделанным, говорил он. — А об тех у меня заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куда надо, покуль день не ушел. Пособить тебе, нет?

— Я сама, дедушка.

— Ну, как хошь.

Он давал ей легкий, быстрый шитик, но Настена осталась в той же лодке: она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда — все, пропала. Тише едешь — дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайной, поспевшей ли смертью, но должен умирать непременно на земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настене только однажды, еще задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нем ее пробирала жуть.

Она высадила деда у будки и, отказавшись чаевничать, сразу взяла через Ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем,

которой она всякими правдами и неправдами добивалась (а какими правдами? — только неправдами!), когда встреча эта после двух почти месяцев розной жизни была наконец близка, Настену охватило раздумчивое, осторожное желание оттянуть ее, оставить все, как есть. Что она сейчас скажет Андрею? Кончилась война, пришел в деревню еще один фронтовик, прежний партизан Лука Смолин, пожилой уже, молчаливый мужик, взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же — возницей. Михеич три дня назад заставил ее, Настену, написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семеновна ходит лучше, уже и без костылей, — тепло, что ли, помогло? — хорошо, конечно, что ходит, но Настена готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что еще? Живот… Это он увидит сам. Да, и недавно осмелилась-таки, продала Иннокентию Ивановичу часы и, ясное дело, продешевила, а что дал Иннокентий Иванович, внесла за облигации: наступил срок платежа и деваться было некуда.

А что скажет ей он? Что ему сказать? Посмотрит она на него и поймет все без слов: и каково ему пришлось, пока не виделись, и что держит он на

уме. Долго так теперь продолжаться не может, надо что-то решать, куда-то приклоняться. А что, куда?.. Близок, близок суд — людской ли, господень, свой ли? — но близок. Ничего в этом свете даром не дается.

Солнце стояло еще высоко, но на воде было свежо, с севера потягивал ветерок. Настену всегда удивляло, как ветер летом может идти встречь течению, — казалось, что река своим широким и могучим движением должна двигать за собой и воздух.

Она гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от работы. На средине реки, как на воздусях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало — избы, лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем — размытость и хлябь. Высоко в небе над Ангарой маленькой точкой парил, что-то высматривая и надумывая, ястреб,

и Настена впервые в жизни невесть с чего пожалела эту вредную птицу: тоже не сладко дается ей хлеб. Настене вообще в последнее время казалось, что никого осуждать она не имеет права — ни человека, ни зверя, ни птицу, что всякий живет своей, но не зависящей от него, подневольной жизнью, изменить которую он не в силах.

Она ухватилась за нижний край острова, по другой, закрытой для деревни стороне затолкалась опять вверх и приткнула там лодку к берегу. Теперь осталось переправиться только через протоку — втрое меньше того, что выгребла. Но остановилась она не от усталости. На нее навалилась другая, душевная слабость. Настена чувствовала в себе путаницу, неразбериху, в которой сошлись вместе и радость, оттого что она увидит сейчас Андрея, и страх перед этой встречей, страх заглянуть туда, что покуда сокрыто темью. Надо было привести душу в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше. Настена сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успокоение. Но оно не натекало, не наступало, и беспокойство не проходило. Настена сидела уже не с улыбкой, а с

гримасой на лице и вспоминала, как она продавала Иннокентию Ивановичу часы. Уж что-что, а это воспоминание утешить ее не могло.

Иннокентий Иванович долго вертел часы в руках, прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену. Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их Иннокентия Ивановича терзало желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он и к глазам подносил их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них каких-нибудь следов — надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. Подождав, спрягав свое нетерпение, поманежив еще себя и Настену, он наконец как бы между прочим спросил:

— Откуль они у тебя? Андрей, что ли, послал?

Ответ у Настены был приготовлен, и она, так же играя в прятки с Иннокентием Ивановичем, сказала:

— Какой Андрей… Для него же, для Андрея, покупала в прошлом годе в Карде. А теперь вот приходится продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет — сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

— За сколь купила-то?

— За две тыщи.

Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку.

— Ну, у меня таких денег нету, — покачал головой Иннокентий Иванович. — Ишь, а все прикидываетесь бедненькими. Две тыщи р-раз! — и достала, отдала, как два рубля. Это кто же в Карде продал их тебе?

— Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала, насбирала, — врала напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу. — Счас-то разве стала бы покупать?

— Двух тыщ у меня нету. Я не такой богач, как ты, — примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, все так же пристально наблюдая за Настеной. — Тыщу с грехом пополам, может, наскреб бы, а больше нету.

Она, подумав, вздохнула:

— Ну, тогда хошь за тыщу. Кому я их еще тут продам? А в Карду ехать — день, а то все два терять надо. Счас не до того.

Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал, но не поверил он Настене, видела она, что не поверил.

Не надо бы к нему ходить, но больше действительно идти было не к кому: в Атамановке только у него водились деньги. А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему. Уж больно оп любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех — так на, нюхай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-вареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, скоро еще один кусок поднесу — не боюсь.

А бояться-то следовало: не ангел. Нет, что ни сделаешь, все не так.

18

Настена помнила, что Андрей должен теперь находиться в верхнем зимовье, но не знала, что делать с лодкой: или спускаться и прятать ее в речке, или оставить напротив острова под берегом — с той стороны не увидать, а на этой, если кто появится, все равно не скрыть. Так что лучше и не прятать. Мало ли для чего потребовалось ей за Ангару! Нарезать вот талины свекру на плетенье, а тальники здесь самые богатые. Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями — правда, на остров, не дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если сделала доброе дело — везде ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был. Едва Настена, переплыв, вытащила нос лодки на сухое и, вскользь осмотревшись вокруг, стала подниматься на невысокий берег, из кустов, густо нависших над водой справа, вышел человек. Настена не заметила, как он вышел, она услыша-

ла лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник. Настена вскрикнула.

— Что ж ты ее так оставляешь? Унесет, — сказал он и, пригибаясь, пошел к ней.

Это был Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью и приохивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо.

— А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал, — щурясь оттого, что так близко видит ее, бормотал он быстрыми выдыхами. — Услышал утром голоса на протоке и узнал тебя. Догадался, что приплывешь. И весь день караулил. Потом вижу: гребешь.

Он прижал ее к себе еще крепче.

— Тише ты, медведь, — оттолкнулась она и выпятила живот. — Раздавишь. Не видишь, что ли?

— Есть? — пьянея уже этой радостью, коротко спросил он.

— Каши, думаешь, наелась?

Он неумело, отвыкнув, с отрывистым гудом засмеялся и осторожно, проверяя упругость жи-

вота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настене было приятно это прикосновение, она глубоко и ласково вздохнула.

— Ниче еще не понятно, — сказал он.

— Ну уж, непонятно…

Она взяла его ладонь и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь, ребенок.

— Понятно?

— Вроде че-то есть.

— Вроде… Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю: это парнишка.

— Знаю, — хмыкнул он. — Откуда ты знаешь?

— Спорим на девчонку, что парнишка?

— Роди сперва этого.

Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался. — Настену самое же и распотешили эти слова, она рассмеялась.

Но, вглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой, раньше назначенного времени встречи с ним стало меркнуть. Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже и не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более

неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой, — так оно скорей всего и было. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с последней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания… Андрей заметил, с каким страданием она смотрит на него, и дернулся:

— Не нравлюсь, что ли?

— Андрей… — Настена ткнулась ему лицом в грудь, чтобы не отвечать, и оттуда, от груди, зашептала удушливо то, что считала самым важным: — Андрей, ты не знаешь еще: окончилась война.

— Знаю, — спокойно сказал он.

Настена отшатнулась от него:

— Как знаешь? Кто сказал?

— Слышал ваш салют.

— А-а, стреляли… ага.

— У меня теперь глаза и уши такие стали… дале-о-ко вижу и слышу. — То ли он отводил разговор, то ли действительно решил похвалиться. — Самому себе завидно. Утром вы еще по

большой Ангаре греблись, а я уж знал: плывут. И вон откуда, с горы, от зимовья, услыхал. А как на протоку вышли, и тебя определил.

— А я тебе ничего почти и не смогла привезти, — медленно и отчужденно, думая о другом, сказала Настена. — Так, хлеба маленько да яичек. Боялась, чтоб не заметили.

— Мне и не надо. Теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена. Мошка вот-вот загудит. Заест она меня без сетки.

— Сетку… И правда, как я забыла про сетку?

— Привезешь в другой раз.

— Привезу…

Она стала думать о том, где взять сетку. Его, Андрея, старую из конского волоса, давно истрепали, а лишней в доме не было. Надо где-то найти: мошка хуже лютого зверя, а здесь он, мужик, один, вся мошка кинется на него.

Они все еще стояли, топчась друг возле друга, рядом с молоденькими, одного с ними роста, распускающимися березками. Листочки на них уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками.

В просветах между березками виднелась Ангара. Деревню скрывал остров; солнце, склоняясь, било туда косым упором. Берег здесь был

широкий и красивый — в черемухе, в березе, раскиданными там и сям по луговине, чуть заметно покатый к воде и молчаливый, словно затаившийся или необжитый. В траве хлопотали какие-то маленькие, но безголосые птички с полосатыми, как у бурундуков, спинками и высокими головками. Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. Настену еще на реке подмывало погадать, да побоялась, а теперь бы уж насчитала лет с двести — живи не хочу.

— Ну, в зимовье пойдем, нет? — спросил, оглядываясь почему-то, Андрей.

— Далеко, поди, — замялась Настена. — Лодку брошу… не угнал бы кто.

— Кому здесь…

Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскивая место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость, колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок; Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его, но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест,

и сползла с колоды на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась из всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку, она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фронта: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть — почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится.

А кукушка, не меняя голоса, все куковала и куковала, наговаривая — кому столько? — деревьям, реке, камням. Шумела перед островом вода; под низким боковым солнцем блестела в деревьях ранняя паутина. От наливающейся зелени плыл и туманился зеленой же поволокой взгляд, дыхание холодило влажными тягучими

запахами. Сверху на полянку оборвалась бабочка и долго не могла вылететь, тычась в плотный кустарник. Но вид на Ангару сквозь ветки оставался, в нем торчала даже корма лодки под берегом, и Настена часто взглядывала туда, боясь не столько за лодку — вообще чего-то боясь, чего-то с неотвратимостью ожидая.

Андрей поел, и, чтобы разговор не ушел в сторону, Настена сразу спросила:

— Кончилась война — что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

— Не знаю, — пожал он плечами, и Настене стало не по себе, ей показалось, что он чересчур спокойно сказал «не знаю», что он и не хочет ничего знать.

— А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

— Что ты хочешь, чтоб я делал?

— Почему же я хочу… Не я… Но… ничего не делать, или как? Ты скажи.

Он обернулся к ней и, помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил:

— Что делать? Тебе — рожать, вот что делать. Умри, но роди: в этом вся наша жизнь. Делай что хошь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься. — Он начал твердо, даже жестко, но голос

его сорвался; голос его вообще, Настена заметила, часто ломался, то становясь некстати суровым, то тут же рядом жалобным, чуть не плачущим — или от постоянного молчания, от одиночества, или от чего-то еще. Андрей откашлялся и продолжал: — А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел. — Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом: — А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. — Он выпрямился и качнул рукой вниз. — Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я

еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.

— А я и счас не знаю, для кого прибежала, — призналась она.

— На все плюнь, обо всем забудь — рожай. Ребенок — все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь — будет легче. Ребенок спасет тебя от зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком! Нету такой вины, Настена. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтоб сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным углям… вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь — прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя — всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею…

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

— Андрей! Андрей! — испугалась Настена.

Он невидяще глянул на нее и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости,

надолго умолк. Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой, издевательской мыслью она вдруг вспомнила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек — несколько: вот и тянут его в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа — потемки, будто хоть немножко знает свою.

Земля под Настеной стала холодить, и Настена приподнялась, села на колодину. Андрей подвинулся к ней ближе, но не обнял, как она насторожилась, а закачался маятно вперед-назад. Солнце уже ушло с полянки, отодвинулось к реке. В корме лодки прыгала, дергая хвостиком, плишка — взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами заглядывая в воду. На востоке, где всходить солнцу, появились белые легкие полосы туч, и Настена затревожилась, не сменилась бы погода.

— Может, схожу на Лену, — неожиданно сказал Андрей.

— На Лену? — удивилась Настена. — Зачем?

— У меня там был дружок, вместе воевали.

Коля Тихонов. — Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, и повторил: — Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе. Он холостой еще был… хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И умелый — все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, а там — последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту — вроде ямочка. В драке вилами в малолетстве проткнули.

И вот мы с ним уговорились: кого убьет, другой чтоб приехал и рассказал. Он с Лены, а яс Ангары — земляки, далеко ехать не надо. Он чудной маленько был. А как, говорю, обоих убьет? Обоих, говорит, не убьет, для этого надо, чтоб Ангара и Лена в одну воду сошлись. — Андрей коротко хмыкнул и длинно, протяжно вздохнул. — Я ему свою грамоту показал: мол, они и так сходятся в одну воду — там, в море. А море, отвечает, это смерть. Они живут, пока шо своему руслу текут, а море — смерть. После смерти и мы сойдемся. Приходим мы под утро с «поиска», а мне говорят: Колю убитого принесли. Может, схожу, расскажу, — не прерываясь, продолжал он. — Я знаю, помню, где похоронен, сам хоронил. Уговор надо

бы выполнить.

— Как же ты пойдешь? — осторожно спросила Настена.

— Прикинусь, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю и обратно. Как хоронили, не плакал, там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный — легче. Думаешь, думаешь до одури, а мысли все колючие… Жалят, жалят… Думаю: если пойти, сдаться — получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил — прими. Чем на себя руки поднимать — пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже. — Настена замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой: — Нет, не пойду. Не за себя боюсь — мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зароют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня, — съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты — на ребенка слава упадет, век ему маяться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим — должно разъ-

яснеть. Может, правда на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: что счас Настена — поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Не дай бог тебе кому сказать. Ты уж и не жена мне — с женой дома живут, ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть.

— Не говори так, Андрей, зачем ты? — Она прижалась к нему, и неловкой, тревожной радостью, как у человека, который, заблудившись, не знает, какая на небе заря — вечерняя или утренняя, — занялось сердце.

— Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой. да речкой, в кочках? Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, ровного места нету. А хужей всего — не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

— Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов

ушел, Иннокентий Иванович на твое место заступил.

— Ага. Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего, из-за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдем в деревню. Нет, затаились, пыхтим и молчим. И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко. Мы с тобой остановились и друг на дружку посмотрели. Помнишь? И так хорошо, так радостно стало, что дождик, что мы с тобой одни и что не успели поругаться. И будто другие люди тут до нас были, а мы только что встретились. И не у одного, у обоих сразу такая перемена. Что вот, что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо?

— Потом пошли на горох…

— На горох пошли поздней. Бросили литовки — и друг к дружке. И дождик-то какой-то не мокрый был, летит и на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда это он нас заво-

рожил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь бы пошел за тобой. Вот ведь что вспомнилось…

— А это мы сидим счас, Андрей? Или те, другие, которые косили?

Он, склонив голову набок, задумался дальней, тяжелой мыслью.

— Не знаю. Не те и не другие, наверно, а третьи. Была война… все было. Нет, — встрепенулся вдруг он. — Это мы, мы, Настена. Счас это мы. Иначе я бы не вспомнил. Это мы. Это не пропало совсем. Не одно плохое у нас было, было и хорошее — правда же, было?

— Зачем же помнить плохое?

— Все надо помнить, Настена. Все надо помнить, но плохое, как срамное место, без нужды показывать не надо.

— А помнишь?..

И она, завороженная и вознесенная воспоминаниями, близко и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего: и что он оборван, запущен, нечист — это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную. Столько, оказывается, в ней было счастья! И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне в леса, воздух погустел, потемнела и остыла зелень.

Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся лиственничная ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей. Очнулась она и испугалась:

— Господи, да ведь мне нельзя без прутьев домой показываться! У тебя хоть ножик с собой?

— С собой.

— Пойдем скорей.

Она пропустила мимо ушей и только после догадалась, почему он спросил, провожая ее:

— Скажи, Настена, как я появился здесь, никого из деревни не убило? Не было похоронок?

— Как ты появился?

— Ага.

— Кажется, нет. Нет, не было. Последний был Володя Сомов. Осенью еще.

— Ну-ну.

Он искал себе вину поменьше. И она задумалась: зачем, для чего? Для себя только или он прикидывал что-то другое?

19

Через несколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своем огороде, где только и сделали, что натаскали гряду под огурцы, но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтоб день не пропал совсем впустую, решила: поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала, отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки, свалю с души одну печаль. Она обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семеновне сказала, будто сходит порыбачить, — Семеновна все хныкала, что «вот люди ловят, а они с нонешней Ангары хвоштика омулявошного не видели». Настена так и сказала — «сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке, — то и другое означало «сходить». Семеновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволенья, а Настена уже выскочила и быстрым шагом направилась к Ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же

валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки.

Дождь глухо, с сытым ворчанием шумел, входя в воду; река казалась серо-стальной и тусклой. Остров казался размытым и приподнятым, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настена вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель, она бежала по льду где-то здесь же: время идет, а у нее ничего не меняется, и зимой и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть все туда же, все для того же. Настена была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, теплыми струйками, набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, и

сбивалась с греби.

Она переплыла Ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженно: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, что помнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, а у них — нет. Попробуй Андрей возвернуться туда, откуда он скосил свою жизнь! Попробуй она воротиться к той Настене, какой была полгода назад! А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно: та же Ангара покажется впятеро шире, те же весла — тяжелей, та же вода — страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть.

Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением

размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить, через не-делю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году после льда Настена несколько раз ставила под своим берегом — и добывала: приносила и ельцов и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой, рыбалки он отошел. А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморенного ельчика. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят — наплевать. Так или иначе все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет в воду. Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись. Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипы-

ванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение — или оно тоже чудилось, наплывало перед глазами, которые не любят пустоты? Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад — шла сначала по-над берегом по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени драньевую крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз

пошел у них иначе, чем накануне, когда Настена приплыла впервые и они встретились на берегу.

Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, как он говорит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там, — молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда — она сквозь камни прорастет, посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силой ее не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же: об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится. И, увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшее, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую настороженную фигуру в грязной одежде; попав после дождя в сырое темное зимовье с горьким запахом спертого,

задушенного воздуха, — увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась.

— Не топишь ты здесь, что ли? — спросила она, не сумев сдержать раздражения.

— Печки нетути, — осторожно, почувствован ее настроение, ответил он.

В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всем теле и застучало в голове, Настена простонала:

— Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу — куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась… и без того задохнулись в смертях…

Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:

— Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

— Андрей! — испугалась она.

— Избавишься, Настена, избавишься, — клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он. — И то: устала — сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать.

Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь? — Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос: — Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалеют. А меня поставят. Тебя он хошь из-за пуза пожалеют. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь как ладно.

— Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

— Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, недолго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас — Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще на мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная — пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару надо — ну и меня по пути подбросишь, я тебе полдороги погребу.

Прижав к груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась:

— За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше… я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты

что говоришь? Зачем ты так?

— Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день, сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет! — кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее с такой злобой, что она оцепенела. — Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась — лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а то ты надсадилась таскать. Хватит. Хватит с тебя, отдохни. Больше сюда не показывайся, все равно ты меня не увидишь. И правда: на шею сел бабе — тяжело! Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был, — достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

В надежде остановить, унять его она шагнула к нему — он искривился в быстрой брезгливой гримасе и втянул голову в плечи.

— Погляди на меня, Андрей, — попросила она со слабой настойчивостью. — Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой,

Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

— Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?

— Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей, что ты! Не надо так, ну, не надо… Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь?

И, не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся, через силу сдерживаемых рыданий.

— Себе, значит, не верь, а ей верь… Славно, — буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на все, на все кругом, слепой, безысходной злостью.

Они надолго замолчали. Настена поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять — не проводил.

Она вытерпела немного — только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла — больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой ли, она не могла. И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он вышел, она

кинулась ему на шею сама не своя от радости, не помня ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что нагородил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, — от всего этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай.

20

А дальше все покатилось как под горку, и под горку крутую.

В субботу Настена истопила баню, закрыла ее и, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжилась и дала полкуска черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха — сроду вместе не мылись! Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А может, действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот внутрь — а куда его втянешь, если он выкатился,

куда его денешь, если он здесь? Как ни старайся, видно же, видно.

На этот раз, на удивление, обошлось. Семеновна или не заметила ничего, или, заметив, не поверила, перевела то, что баба раздобрела, на другую причину. И все же дважды или трижды, пока мылись, Настена ловила на себе ее упрямый, зыркающий взгляд и тогда подбиралась вся, поджималась так, что от натуги сводило скулы. После, когда оделась и вышла, пожалела: чего скрывалась? Самый удобный и верный был момент, чтобы, наоборот, показаться во всю свою красоту, а спросит — сказать, что есть. Даже лучше, если бы свекровь услышала это от нее, от Настены, а не от чужих людей. Наверно, не хватила бы кипятком, а что раскричалась, распалилась бы — пусть, зато Настена наконец освободилась бы от этого беспрестанного ожидания, от этого страха, который чем дальше, тем страшней и невыносимей.

Но баня для Настены все-таки даром не прошла. Семеновна с тех пор стала приглядываться к ней со своим особым, на один глаз, целящим прищуром, который, Настена знала, ничего хорошего ей не сулил. Значит, старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота: свекровь на

дню по двадцать раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место, она наводит глаза, а Настена, скрываясь, или прошмыгивала бочком, или ходила, загораживаясь руками, запахиваясь в просторный Андреев пиджак, или сгибалась, выносила вперед грудь. А живот, тот в последнее время поднимался как на опаре, и никакими хитростями утаить его было уже невозможно.

И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суетясь и домашничая каждая за своим делом — Настена больше по двору, Семеновна по избе, — свекровь, будто впервые наткнувшись на Настенин живот, спросила прямо:

— Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то? Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, твердой стороной, Настена ответила:

— Брюхатая.

— Эва-а-а! — удивленно и даже как бы обрадованно, что подозрения ее оказались непустыми, протянула Семеновна и вдруг подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой.

— Шуцка! — выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась. — Шуцка! Ой-ё-ё-ё-ёй! — заголосила она, хватаясь за голову. — Штыд, штыд како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меште. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая… Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Да штоб у тебя там червяки завелишь! Штоб тебе вовек не опроштатьша! От бы хорошо было, от бы хорошо! — Семеновна и сама испугалась своих проклятий и, остановившись, поперхнувшись, с последней надеждой спросила: — Ты, может, врешь? Может, нету нице?

— Есть, — с каменным бессилием, зная только, что иначе отвечать нельзя, сказала Настена и невольно качнула вперед животом.

— Ешть, — простонала Семеновна. — Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом — нет. Не кошка ли ты? Не кошка ли ты пакоштливая, блудливая? — нашла она новое слово и, как на кошку же, крикнула, указывая рукой на дверь: — Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка

придет — це мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают — гошподи! Я тебя, девка, ш первого дня разглядела, я шразу поцуяла, какая ты ешть. Побежала, принешла! Уметайша, не жди, покель я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло.

Настена в чем была, в том и вышла. На крыльце она подобрала ведро, в котором выносила теленку пойло и впопыхах забыла на ступеньке, и поставила его на лавку. Из избы продолжали греметь и шипеть проклятия; Настена постояла еще, как бы не понимая, не веря, что они относятся к ней и что ее действительно изгнали из дому, потом нерешительно, все еще медля чего-то и ожидая, открыла калитку. Неподалеку на полянке ребятишки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было некуда — Настена пошла к Надьке.

Она не обижалась на Семеновну — что тут, в самом деле, обижаться? Этого и следовало ждать. Но до самого последнего момента Настена надеялась, что, раз она ни в чем не виновата, правда каким-то образом должна сказаться и уберечь ее от такой расправы. И не справедливости она иска-

ла — сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой. Неужели своя кровь ничего ей не шепнула, не плеснула в сердце пытливым толчком? На что тогда рассчитывать от людей? Вот он, нарыв, который долго нарывал, тянул из нее терпение и силы, наконец лопнул, а приложить к ране нечего. Много ли помогут одни свои наговоры, бедное утешение в том, что надо все перетерпеть ради чего-то, что наступит после? А что там хорошего наступит? Нет, нечего ждать, нечего.

Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходилась сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целости-сохранности донести до того дня, когда придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жалостью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее. Родной уж стала, восемь лет оттрубила. Не обидно, что так вышло, — нет, не обидно, а стыдно; и не за

себя стыдно, она свою дорожку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать некуда. Одна, совсем одна.

Она пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорится, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать заново: стоит только сдвинуться с того места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы называть тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

— Че, ухайдакалась?

— Пустишь меня пожить маленько? — сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена.

— Кого — тебя?

— Меня.

Надька, собиравшаяся отмахнуться, вгляделась в нее внимательней:

— Че такое стряслось?

— Выгнали.

— Тебя выгнали?

Настена показала на живот:

— Видишь?

— Пи-пи-пи-и, — не своим голосом запела Надька и ахнула: — Заправду, че ли? Ты откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка. — Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а сама, склонившись, встала напротив. — Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче… Ты откуль его взяла? Ну, утвори-ла-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Ничче себе! Кто это тебя?

— Святой дух. — Чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормошили, не тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.

— Святой-то, святой, — подступала Надька. — Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде не было. Нет, ты давай сразу рассказывай. Чтоб без околичностей. Я, может, сама этого святого захочу проверить?

— Не догонишь, Надька. — Понимая, что больше объяснять никому ничего не понадобится, достаточно одной Надьки, Настена решилась. Противно, но делать нечего, что-то говорить надо. Не первый и теперь уж, наверно, не последний грех на душу. — Помнишь, уполномоченный приезжал? — спросила она. — Который на облигации

подписывал?

— Ну?

— Вот и ну! — озлилась Настена. — Запрягли, поехали, и… привезла. Долго ли умеючи?

— Недолго, недолго, я знаю, — торопливо согласилась Надька. — Долго потом расхлебывать. Ну, Настена! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня. А дальше-то как хочешь? Если Андрей придет? Он же убьет тебя.

— Пускай. Что ты спрашиваешь: как, как? Откуда я знаю?! Скажи лучше, могу я у тебя первое время перебиться. Пустишь, нет?

— Да можешь, можешь. Куда тебя деть. Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, конечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила, — не утерпела, хихикнула Надька. — То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками, и пришла? Ничего не взяла? Может, мне сходить, собрать там?

— Не надо. Я потом сама.

— Сама… Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не

вянь, не пропадешь. Не то бывало. Встарь бывало, и собака с волком живала. Проживем. А то че ж: названье одно, что баба. Нет, ты роди, роди, потом поглядим. Как его хоть звали?

— Кого?

— Кого… Кого еще — этого твоего, который тебя на заем подписывал? Ловкий какой! Имя-то хоть спросила?

— Нет.

— Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего.

Надька поохала еще, поахала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает — как же было упустить возможность рассказать первой! А Настена, оставшись одна, упала на топчан, закрыла глаза, и дыхание ее перехватило крутой обжигающей болью. Она бы и заплакала — так хотелось вволюшку пореветь, чтобы вынести из себя эту непомерную, охватившую уже все тело, несусветную боль, но боялась, не повредили бы слезы ребенку. И долго с одним тянущимся стоном каталась она по топчану, то вскакивая, то падая снова, и малой каплей не было ей ни в чем

облегчения, не было ни затишья, ни усталости измученной душе.

Поздно вечером пришел Михеич и через Родьку вызвал Настену в ограду. Он сел на суковатый, истыканный топором чурбан, Настена осталась стоять. Она едва держалась на ногах, но сидеть не смогла бы совсем — так хоть оставалась возможность переминаться, шевелиться, а неподвижность ее давила. Корявыми, трясущимися пальцами Михеич набил трубку и закурил, не сразу добыв из кресала огонь. Хватил дыму и захлебнулся, закашлялся; отвернувшись, склонился к земле, зашелся, натягивая и надрывая внутренности, и отдышался не скоро. Настена ждала. Отдышавшись, сделав еще несколько успокаивающих затяжек, Михеич поднял на Настену слезящиеся глаза и устало, вымогающе сказал:

— Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не говори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня. Я ить отец ему.

Настена покачала головой.

— Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, если ты от меня скроешь… Хочу я спросить его, на что он такое надеется. А? Не

говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти… От стервец дак стервец. Доигрался… Сведи нас, Настена, — почти с угрозой потребовал он. — Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:

— О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

— Не ври, Настена. — Михеич поднялся и пристукнул трубкой по ноге. — Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще?! Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. От оно, доказательство-то. — Он чуть не достал трубкой до Настениного живота и отдернул ее. — Куды ты его денешь? Куды? Я тебя спрашиваю!

Понимая, что не надо бы этого говорить, но не найдя, не зная, что больше сказать, стараясь закончить, оборвать скорей разговор и уйти, упасть опять на топчан, она достала черного, нечистого,

подложного козыря:

— Яс вашим Андреем четыре года прожила и — ниче. А ты говоришь: доказательство.

Он замер, испуганно заморгал, глядя на нее, и повернулся, тяжело зашагал к воротцам. Кто-то, видно, проходил в это время по улице; Михеич, открыв воротца, дернулся обратно, но подтолкнул себя и вышел.

21

Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки угомонятся, накинула и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, прихватила платье, фуфайку и чирки в руки и босиком на цыпочках вышла. На крыльце под глухой стеной она оделась и обулась и так, в полном облачении, но простоволосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя себя, надо ли делать то, что вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец хоть ненадолго потерянным, желанным покоем.

Ночь была жутковатая — морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь больше не направился и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, накрепла еще сильней. Постройки в кромешной темени почти и не выделялись,

приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его инакая, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление воздуха. Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней.

На Ангару она и наметилась, поднявшись с крылечка; по ночам да непогоде, скрываясь от людей, она давно уже знала только один путь. Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест. Одноручное весло Настена не тронула: управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на воровство, но ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих — еще науськают собак или придумают что похлестче; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала

непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая — Настена испуганно остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут. Сегодня она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была ей на руку, тишины, как никогда густой и чуткой, выдающей любой маломальский звук, и вот этого лая, который скорей всего был пустячным, с сонной собачьей дури, потому что скоро умолк, — во всем ей чудились намеренность, подстроенность, дурное предзнаменование. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, спустилась она под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка. Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню.

Здесь, на Ангаре, было светлей: от реки поднималось серое, исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за мерклой прокладкой виделось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыска-

ла глазами огонек бакена — белого, который она помогала деду Матвею ставить и который сплавляли вторым, и оттого, что он здесь, не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь и немощно опускаясь, предутренний ветерок…

Пора было браться за весла: как ни морошно, а летняя ночь все равно коротка. Настена рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не получится. Слишком долго пролежала в постели, просидела на крылечке, долго скрадывала весла и таилась, пока снесет, на воде — время не ждало. Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не причаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу — достаточно. Похоже, что она, Настена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало, — где, когда, что? К чему теперь

доискиваться? Ничего это не даст. Успеть бы предупредить Андрея, уговориться с ним, а там будь что будет. Такую страшную, непосильную чувствовала она усталость, что хотелось отгрести подальше, опустить весла и лечь, закрыть глаза — пускай бы тащило, уносило куда попало, хуже б не стало.

Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, что живет она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку, переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном живот. Теперь, когда прятать его было ни к чему, когда каждый, кому не лень, тыкался в него глазами и опивался, как сластью, его открывшейся тайной, начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое, дрожливое ощущение его наполняющейся жизни. Остался один страх: что с ним будет? Непросто было без конца выдерживать на себе хваткие и судные взгляды людей — любопытные, подозрительные, злые; как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней, — правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали, и всякий раз искали подтверждения молве: тут

ли он, живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил; мол, держись, плюнь на разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, уймутся. Если б чуть сходилось по срокам, наверно, и Лиза покатила бы на нее, подозревая, не Максим ли там был. А может, и теперь задумывалась, подсчитывала — кто ее знает? Катерина вон, жена Нестора, не на шутку косилась, дурила про себя, а не подходить же к ней, не объяснять — мол, успокойся, твой Нестор тут ни при чем.

Не всякий поверил Настениной сказке про уполномоченного — так, пожалуй, и должно быть, но Настене от этой отговорки легче не становилось. Бабы — ладно, с бабами обойдется, она знала, что не виновата пред ними — той хотя бы виной, которую они примеряли к ней, поэтому смотрела на них без стыда; куда хуже было, когда намекали на что-то близкое к правде. Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая головой, в первую же. встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

— Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?

И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее,

ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет ли что ненароком.

— Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович, — как всегда в последнее время настырничая с ним, не давая ему спуску, ответила Настена. — А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет походить.

— Тьфу, язва! — сплюнул он и пригрозил, отходя: — Нич-че, выясним, на кого он будет походить.

Вот это уже выходило пострашней, и что тут делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать, не в силах была задуматься и что-то решить: как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла. Все кругом стало немило, все казалось чужим, направленным против нее, высматривающим каждый ее шаг, подслушивающим каждую мысль. Она шевелилась, чтобы не застыть, не обмереть окончательно, выходила на работу, говорила какие-то слова, когда спрашивали, но о чем говорила, какую работу исполняла, где была, сразу же забывала. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжистой, горькою болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера — заблудилась,

закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле, — Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидяще и замаянно. И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то верилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, омутная заверть. Хватит — сколько можно?!

Она не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька п доложила:

— Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят… Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого, пузо-то наростила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром.

— Где бы я его взяла, своего-то? — заставила она себя хмыкнуть. — Четыре-то года, однако, много будет для пуза?

— Это Иннокентий Иванович догадки все строит. От него, мне кажется, пошло, — объяснила Надька. — Неймется ему, старому хрычу. Сам-то для бабы бесполезный человек — вот и мутит народ, придумывает что поинтересней.

— От своего — так от своего, — согласилась Настена, чтобы показать: говорите что хотите, не жалко.

Уже после разговора ее пробрал страх: а ведь дотянется, ушлятина, дотянется. Другого такого Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока не выйдет на прямую дорожку: раз уж запало ему — не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему: мол, скоро в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них всерьез. Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу… какую кашу… к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было вовсе, — она уж и не знала, чего хотела! — все равно на ребенка после этого падет слава, от которой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему — бегляк с войны. И ничем эту славу не вытравить — так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рожден от самого дьявола, он поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет

сотню доказательств: от него, от нечистого. Стало быть, и ребенок родится на стыд, с которым не разлучаться ему всю жизнь. И тут не выйдет, как хотели, — ничего не выйдет. И грех родительский достанется ему, суровый, истошный грех, — куда с ним деваться?! И не простит, проклянет он их — поделом.

Темно, до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов — только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли еще, не померк ли робкий огонек бакена — то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух — дух размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзывов, и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть.

Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку — речному, чужому ли, потустороннему, — ко всему настороженная, ко всему готовая. И когда на берегу

что-то коротко и сухо стукнуло, будто опустили дерево на дерево, она тотчас поймала этот стук и замерла. И сразу же услышала тот внятный, скребущий шум, с каким сталкивают с галечника лодку, Булькнула потревоженная вода, затем все стихло, но скоро до Настены донеслись мерные, чуть чмокающие чесы одноручного весла.

Сомневаться не приходилось: кто-то плыл за ней. Кто-то скараулил, подождал, пока она отгребла, и тронулся следом. Кто — Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки — Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой, можно было взять любую, та и другая не замыкались. Настена не шевелилась: шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше: если слышит она, услышат и ее. Сплавала, предупредила! Надо возвращаться. Добро бы Михеич — не так страшно, а вдруг не он? Кто б это ни был, воду ему она уже показала.

Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было неблизко, но ниже далеко в Ангару выдавалась релка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до релки — и

греби без боязни, только не стучи. Аккуратные, едва различимые всплески весла поравнялись с Настеной и прошли мимо; снова там затаились, ожидая, чтобы Настена выдала себя, и снова, не дождавшись, тронулись дальше.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Перед утром насту-жалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу. Сейчас бы не сторожиться, а, наоборот, застучать, загреметь, чтобы знал он, тот, кто гоняется за ней, что она и не собиралась переплывать Ангару, а всего-навсего с бессонья вздумала прокатиться под своим берегом, развеять грусть-тоску. Устала она, от всего устала. Измоталась. Скорей бы конец: любой конец лучше такой жизни. Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила: выдала Ангару.

Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода — может, к белому дню все-таки стянет с неба эту

угрюмую железную навесь. Тяжелая, недобрая ночь — в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, жалуясь и плача без капли надежды.

Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. Господи, куда попала?! Куда попала?! К утопленникам! От ужаса ее продрал мороз, ноги обмякли и не слушались. Ползком Настена выбралась из обвалившейся могилы и покатилась вниз, к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого места. Кладбище это развел за лето Мишка-батрак, еще в начале войны прибившийся к Атамановке из детдома мальчишка, вымахавший с тех пор почти во взрослого парня.

Нынче, как никогда, много несло утопленников. Отчего? Война кончилась, надежды стало больше — или жизнь сделала слишком крутой крен, и не все удержались на повороте, слабые попадали в Ангару? Кто знает… Мишка-батрак, которому дали прозвище за то, что пробавлялся

он попервости в работниках, не брезговал вылавливать их и хоронить, получая от сельсовета за каждую могилу по десять рублей. Заработок этот ему понравился; целыми днями Мишка-батрак пропадал на реке, высматривая цепкими ястребиными глазами добычу, и зарыл на нижней поскотине уже четверых — зарыл как попало, без усердия, лишь бы колхоз заверил справку, что зарыт, по которой сельсовет выплачивал деньги.

И всю дорогу, пока Настена заталкивалась, ее трясло. Ведь помнила же, помнила, днем за версту обходила, боялась взглянуть в ту сторону, а ночью полезла. Прямо в могилу завалилась — что ж это такое?! И, ахая, содрогаясь от страха и омерзения, уже боялась за себя: заляпалась. И мыла, мыла потом руки, которыми хваталась за глинистую, липкую могильную землю, и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи.

Но она не забыла проверить: тот, кто плыл за ней, взял лодку Агафьи Сомовой.

22

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька — ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ведала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же… Всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах

за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит собираемое сено и густым, едким дурманом пахнет урожайное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов — любила все от начала до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится — где ей быть, с кем жить, на кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одиношеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой — и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа гробит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желан-

ное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела — и не болела уже, а потягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри — там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась, — угрюмо клята она себя и теряла мысль. — Так тебе и надо».

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала — и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

— Тронулась ты, че ли? — прикрикнула на нее Надька. — Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила — почему не спросить?

— К мужику своему хотела пробраться, да раздумала, — ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

— Тронулась, — решила Надька. — Ну и черт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь — не щененка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пришел Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

— Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это…

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

— Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет

хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться. — И выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич: — И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас…

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все — выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила — ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться — не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие:

приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал — что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налогопоставки. Атамановка его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал — что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее — она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи — ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали, — но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Оделась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все

же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен — неизвестно.

Стыдно… почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётом убегать от беды?

Настена гребла и с покорным, смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила… Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было

жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чуют? Слабенькие сегодня звездочки — куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса — тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй… И подтягивает третий….

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

— Вон она, вон! — кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей. — Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

— Вторую лодку сталкивай, — это уже голос Иннокентия Ивановича. — Скорей. Скорей — чего телишься!

— Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно наконец желанное, заработанное мучениями счастье, — почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно… всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?.. Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее…

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было темью…

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет

поздно.

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, — в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск — чистый, ласковый и подталкивающий, в нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков… И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

— Настена, не смей! Насте-е-о-на! — услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина — последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их — и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к

берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ



1

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобождение открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды — да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба — да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось,

кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Всё на месте, да не всё так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах, и растворились ворота во дворы — их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски — поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом,

ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали — и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, — было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко — Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая

слово это на хохлацкий манер — как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: «Богохул», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в Богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую сторону; везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду,

а над Подмогой — она была положе и ровней — и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти,

триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли — концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

— Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. — Это Дарья Настасье. — Я уж в памяти находилась, помню.

— Ты, однако, и будешь-то года на три меня по-старе.

— Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была — оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

— Я помню.

— Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше

десяти лет назад, — в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда — откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? В Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище Московишна. Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась несладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную, и ту немую, девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить — стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала

в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем, и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: «Хоть и Сима, да мимо», но Сима не обижалась. Обратно в Подволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки, — не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали — он сильнее жался к Симе и

смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.

— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья. — Че ты там за мной видишь — смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь, уставился, немтырь, как гвоздь.

— Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

— Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли

ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета…

— Утром подымусь, вспомню со сна… ой, сердце упрется, не ходит, — рассказывала старуха Настасья. — Осподи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо», а он: «Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.

— А чтоб непужаных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал учить — ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здравый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?

— Ой! — радостно спохватывалась Настасья. — Егор-то, Егор-то… едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

— А теперь-то как — остановилась?

— Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, — вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

— Я всю жисть колхозу ондал.

— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело — лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, стращая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно ехать, то ехать. И отрезал Настасье:

— Чтоб к троице была в готовности.

А до троицы оставалось всего-то две недели.

— Зато никакой тебе заботушки, — не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасье Дарья. — Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом, нажмешь — жар идет. Вари, парь. Прямо куды тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне надо мной смеются, что

мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и дрожишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня… какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот… телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговоре-ла и опеть на боковую.

— Ой, не трави ты мое сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. — Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!

— Всех нас, девка, пересаживают, не одную тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай, господь, прибирай.

Настасья, не соглашаясь, качала головой:

— Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говореть?!

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья. — Никого уж не остается. Погляди-ка,

Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когда выбирать, ежли вино не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену…

— Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска… Околоток хороший наберется. Не мое кукованье.

— От и вся Матёра. Господи!

— А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, — заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку. — Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатим куда глаза глядят, в море-окиян…

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога — в дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие — Колька, в котором она души не чаяла. С мальчишкой в дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симина дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька вошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без стесненья напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой,

матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении, которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности отыскать ее было нелегко.

— Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам, — говорила Сима. — Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.

— Ты пошто его не учишь говореть-то как следует? — попрекала Дарья. — Он вырастет, он тебя не похвалит.

— Я учу. Он может говорить. Коляня у нас молчаливый.

— Пришибло мальчонку. Он все понимает.

— Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар — большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя — кипятку, стало быть, еще вдосталь, — и потревоженный самовар тоненько

засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе — отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая вытянутыми губами.

— Четвертый, однако, стакан, — прикинула Настасья.

— Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в кастрюльке греть.

— Пошто в кастрюльке? Чайник налью.

— Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только.

И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья. И зря она пугает Настасью — неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все остальное — как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

— Довелись до меня, взяла бы и никуда не тронулась. Пушай топят, ежли так надо.

— И потопят, — отозвалась Сима.

— Пушай. Однова смерть — че ишо бояться?!

— Ой, да ить неохота утопленной быть, — испуганно остерегла Настасья. — Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас укладали,: и нас туды.

— Рать-то твоя поплывет.

— Поплывет. Это уж так, — сухо и осторожно согласилась Настасья.

И чтобы отвести этот разговор, ею же заведенный, Дарья вспомнила:

— Че-то Богодул седни не идет.

— Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.

— С им грешно, и без его тоскливо.

— Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.

— Окстись, Настасья.

— Прости, осподи! — Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.

Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в ограде петух,

выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашлась, залилась в суматошном кудахтанье, не унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась в сенях, наскакивая на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил:

— Кур-рва!

— Вот он, святая душа на костылях, — без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. — Не обробел. А мы говорим: Богодул

че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.

— Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик. — Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

— Кого грабют? Че ты мелешь?! — Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку, — надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары — хоть глаза закрывай.

— Хресты рубят, тумбочки пилят! — кричал Бого-дул и бил о пол палкой.

— Где — на кладбище, че ли? Говори толком.

— Там.

— Кто? Не тяни ты душу. — Дарья поднялась, выбралась из-за стола. — Кто рубит?

— Чужие. Черти.

— Ой, да кто ж это такие? — ахнула Настасья. — Черти, говорит.

Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

— Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли прав-

ду говорит.

3

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

— Ты чего, ты чего, бабка?!

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.

— Но-но, бабка. Ты это… ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты… вы… — Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. — Вы откуда здесь взялись? Из могилок, что ли?

— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла. — О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, — кинулась она опять на мужика. — Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

— Да отцепись ты, бабка! — взревел мужик. — Ответишь. Мне приказали — я делаю. Нужны мне ваши покойники.

— Кто приказал? Кто приказал? — бочком под-

скочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: — Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик — этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке, — вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился.

— Ты посмотри, — обрадовался ему медведь. — Наскочили, понимаешь. Палками машут.

— В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил второй мужик. — Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары, на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну оказия! — Мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

— И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили, аспиды?

— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на «медведя», бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь «медведю» острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как на изготовку, пока-

чивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходявое.

— Чтоб знали, нехристи.

— Зачем место поганить? В Ангару их.

— И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

— Как морковку дергали… Это ж подумать надо!

— Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

— Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

— Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

— Врет, — обрывали его. — Тайком приплыли.

— Дайте сказать, — добивался мужик. — Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас

привез. И Воронцов ваш здесь.

— Не может такого быть!

— Отведите нас в деревню — там разберемся. Они там.

— И правда, в деревню.

— Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

— Никуды от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул, вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал — Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия — ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, — толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один — Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй — незнакомый, конторского вида мужчи-

на в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

— Что такое? Что у вас происходит? — еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались к цыганистому.

— Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, — взялся объяснять ему молодой.

— Как собаки, — подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула. — Я тебе… пугало огородное…

Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на «собак» отозвались возмущенным гулом.

— Ти-ше! — с растяжкой скомандовал он. — Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?.. Они, — Воронцов кивнул на мужиков, — проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук — лицо официальное.

— А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел

наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

— Такие фокусы даром не проходят.

— Царица небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.

— Слушать будем или что будем?.. — повторил Воронцов, взяв тон покруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирятся. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

— Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, — знал Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково, — есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ… Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию…

Дед Егор не вытерпел:

— Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

— Я и отвечаю, — дернулся Жук и от обиды заговорил быстрей: — Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди. Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом…

— А о нас вы подумали? — закричала Вера Косарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут… это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов… — Вера задохнулась. — Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать…

— Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положения и не говорите. — Голос у Жука заметно потвердел. — Да восемь кладбищ полностью

переносятся. Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.

— Ты арапа не заправляй. — Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. — Откулева пришли, туды и ступайте, — отправлял он. — К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявилися, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам…

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажется, не понимают… Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

— Кур-рва! — высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал!

— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. — Ты сам тута-ка без году неделя. Сам турист… ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить — у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец

мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не криль. — Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. — И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

— Иди-ка ты!.. — понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.

— Это другое дело, — согласился Воронцов. — Так и запомним.

— Запоминай. Не шибко испугался.

— Защитничек нашелся.

— Много вас таких!..

— Убирайтесь, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери — он отстранялся и брезгливо морщился, с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, — казалось, вот-вот он не выдержит и по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Ка-

терина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: «Нету таких правов, нету таких правов». Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев перебросить несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся — случившийся дед Егор посоветовал верзиле:

— Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил…

— Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила.

— Но-но.

— Я, может, сам уголовный.

— Ну, тогды спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих» Через час все четверо отплыли с Матёры.

…А старухи до поздней ночи ползали по клад-

бищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки»

4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре, — теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали Богодула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять, курицы у всех — яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.

Или привечали Богодула в Матёре больше,

или по другой какой причине приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал Матёру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго — видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане — там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою «фатеру», в колчаковский барак.

Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели,

что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, Богодул, недолго думая, подставил ей голую ступню — змея ткнула и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки, когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь, и блаженно приговаривал:

— Кур-рва!

Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же «курвой» и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как попало, а любовно выпекал

мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами — правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку.

Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем, он их привораживал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать.

— Здорово, Дарьюшка! — гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.

— Драствуй-ка, — со сдержанной радостью отвечала она. — Пришел?

— Как бог, — и мат.

Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась ставить самовар.

— Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! — кричала она через прясло. — Гаркни там Татьяну, пущай тоже идет.

А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек этот старуший приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христарадным видом. Ворчали старики:

— От каторжник! (Жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь за убийство. — Ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, каких поискать по белому свету.

В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались, — или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем бы ни заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним — подступающим затоплением Матёры и скорым

переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузлые ноги или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:

— Не имеют пр-рава.

— Да как не имеют, ежели имеют, — с досадой и надеждой набрасывались на него старухи. — Нас, че ли, спрашивать будут?

— Не имеют. Потоп… кур-рва… на людей… не имеют. Я закон знаю.

И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью.

— Ты-то, христовенький, куда денешься? — с жалостью спрашивали старухи.

— С места ни ногой! — выкрикивал Богодул. — Японский бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!

— Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.

— Живой… кур-рва! — упирался он.

На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра — она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен сцеплен-

ные вместе, сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери, — новую, магазинную мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье, — покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом, поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.

Утро было позднее и тихое, солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда, в одно место для слуха, а оттекали в стороны. В нетопленой избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно — неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и невынесенного; с вечера не убрано было со стола, и все так же

нетронуто стоял налитый вчера для Богодула стакан с чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил — Дарья шевельнулась и спросила:

— Новый, ли че ли, поставить?

Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дела, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила — безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь продолжала дальше:

— Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко — вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ни-че, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.

Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разговор:

— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! — Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. — Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень — однуё меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.

Тятька говорел… у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо — живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься,

к нам захочешь — нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто не обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя… а тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нонче свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешнее время были люди, дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут… Куды там назадь… под ноги себе некогда глянуть… будто кто гонится.

— Японский бог! — согласился Богодул.

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

— Без чаю-то худо, — от удовольствия, что пьет

его. признавалась она. — Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно… мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее — окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их… сердце оборвется и захолонет — нету. Я от себя качну — навроде раз, другой толкнется, подоржится и опеть… как на память найдет… опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне… далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?

У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. Первая мамка, и не с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, потом

легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нету, руками без толку машем да чекаем: «Че мамка, где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела… Приподняли, посадили ее, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она навроде душила… так и влипло. Тятька после говорил: «Это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась». Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и он под его… нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под рожество, а его близко к этой поре, за троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.

На острову у нас могила есть… Тепери-то ее

без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидел Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша… пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру, быть похоро-нетым. А за то я поставлю вам церкву христовую». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был… целые тыщи — то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, таки и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говореть…

Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: «Ты, Дарья, много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у

дружки на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просют»... Ну запустил свое хозяйство... «Люди просют» — хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния — он туды свою голову... — Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: — Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в

белом свете грех, какой ишо надо грех? — Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу и две оставила себе. — Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка: в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.

— Вино — ык! — подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.

— Пущай его дьявол пьет, — согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. — Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ее — бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу — что то, что другое. Поминают ее без пути на каждом слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а

совесть, поди-ка, та же — вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что жалезная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежли этакое творится!

Я ночесь опосля вечорошного не сплю и все думаю, думаю… всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу — до того напружилась от ожиданья… Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою — то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет — не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие — страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне… Закружили меня звездочки… навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды

назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа освятилась. «С чего, — думаю, — че было-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится», — навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.

У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матё-ринские. Чужих не сильно принимали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит — голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется! До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой работящий! Где кол

забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька, за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась не в тятьку свово: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили — ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?

Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться кажный рад. У нас из веку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые — не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку мою тятька тоже привез от-куль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: «Ой-ё-ёк». От с этого самого Ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться — крутом Ангара. На Подмогу передти и то надо вплавь, а у нас там,

на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей подсмеивались, нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был… он когды… щас… — Дарья растерянно запнулась: уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: — Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак…





Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках — везде, куда падал этот свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник — ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжанием моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера… ко-

рило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны.

Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

— Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись — боле некуда. Тапери ты иди, ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть… Наши разговоры как мякина — ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время…

— Дарья, куды? — строго вопросил Богодул, задирая голову.

Она на минутку замешкалась и отказала:

— Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.

Куда «туды» — она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню — ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом — нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказав-

шись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий…

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие берега, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.

И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края,

от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре — всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она — набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с темными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, — там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (лиственъ — на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного ли вида, или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора, и обвисли, за-

прокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне — остальное оборвал и вытоптал скот.

Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, — поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору — она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие — высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.

Видела Дарья на память и дальше — снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами — сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда — оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если

ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. «Так ли? Так ли?» — со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

…А там — тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало каждый год, но как поднимется, задурит река — держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.

И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе

и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо, и кругом безгласно — молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский лиственъ», слепо растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса: и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселения, — кладбище, пристанище старших…

Скоро, скоро всему конец.

Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступаясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, — нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед,

как смотрит сейчас она.

Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. «На море-океане, на острове Буяне…» — некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.

5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона Сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

— Подчистили картофку-то?

— Подчистили.

— Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли — надолго ли вам, едокам!

— Поболыпе-то издрябла бы, — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

— Издрябла? — удивилась Дарья. — Ты сказывал, там подполье есть.

— Есть, — кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. — Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай.

— Но-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?

— А там досматривай не досматривай… у всех

вода. Никакой Ангары не надо.

— Это че деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?

— По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.

— Ишо чудней.

И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает, откуда они взялись? Был бы хлеб, был бы дом, и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза!

Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтобы не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до пасхи, ему сровнялось пятьдесят — был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном: первого прибрала война. И.еще одного

сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел, смерть на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужики, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет — тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьей детей все трое успели вырасти и войти в жизнь — один годился для войны, другой для работы, третья — старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной — значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле — кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше.

И столько же, трое, осталось у Дарьи в жи-

вых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с нею не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба — что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение от родных к старикам, — самая первая для них важность.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что заметил — пол не подметен, спросил:

— Как ты тут управляешься? Вера не приходит?

— Вера когда зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.

— Захворала, что ли?

— Дак оне че творят-то, Павел?! Че творят-то?! Уму непостижимо! — стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем,

особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

— Может, хошь деда с бабкой твоих перенесли бы… а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих… два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конешно, грех покойников трогать… Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А ежели воду пустют…

— Сейчас не до того, мать, — ответил Павел. — И так замотался — вздохнуть некогда. Посвободней будет — перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.

И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом:

— Косить-то нонче будете, нет?

— Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.

Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе:

пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и неближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар — так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера, — шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы — привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть

свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтобы на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.

Это жилье. А рядом — тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине, — и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот — не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки — курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана

скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:

— Позволят… Дело не в стайке…

Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом гудела от машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное «можно» больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму «можно»? Можно-то можно, но сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться: как выкроить время, чтобы косить, — это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота и где ее понимали;

как, накосивши, переплавить сено через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору. А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, перевезешь — куда его ставить? И куда опять же ставить корову?

Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом.

Нет, этот последний, переломный год казался страшным. И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это «что будет» оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть — крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче, а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя, другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх — потому-то молодые легче расставались с Матёрой.

Клавка Стригунова так и говорила!

— Давно надо было утопить. Живым не пахнет… не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить — середь воды… как лягушки.

И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.

— Подожгу, — грозилась она, приезжая из совхоза. — Мое дело маленькое. Не хочете уходить, хочете гореть — горите. А я из-за вас страдать не собираюсь.

Тем же — как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег — озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по Матёре и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку: «Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак. наук». Петрухе сказали, что его

избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жилая изба — ну разве можно сравнивать? Пока это временная пластинка, там, в музее, будет другая: «Изба крестьянина из Матёры Петрухи Зотова…» — или нет: «…крестьянина из Матёры Никиты Алексеевича Зотова». Все станут читать и завидовать Петрухе — Никите Алексеевичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на подписи он, как полагается, должен быть при

полном величанье.

Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухину избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтоб «Ак. наук» забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею — черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке, — получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра — тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу. Не будь этой «Ак. наук», он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но «собственность Ак. наук» покуда его тоже удерживала. Печатными буквами пробито, что не его, не Петрухина, собственность — не напороться бы на неприятность. Вот как: изба Петрухина, а собственность не Петрухина — поди разберись,

кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.

— Они у меня дождутся, — угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх Ангары. — Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивай, чья собственность. Дождутся.

Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверно, кой-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали это, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто — как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там — полная тьма что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое неспособно вместиться в ее старые понятия.

— Баня, говоришь, на всех одна? — ахала она, пытаясь представить, что это за баня. — Ишо не легче! На столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?

— Где ее там ставить?..

— Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в эту оказину идти.

А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если

она есть теперь, будет и на тот год — нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля — курицы вскопают, и они же приберут.

Помянешь, ох, помянешь Матёру…

6

А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек — Хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином — чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал.

Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что. с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый сумрачный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало

своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях — только воспоминания. Мечтать никому не дано.

Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте — темная, но здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчанье воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне — непрестанное шевеление всего, что живет на улице, — куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся

на охоту, притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы.

Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться на Подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он.

Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матёра:

темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы подготовлялось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и осел — как волна, втянулся в песок. Но длинней и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо мыкнула, как мяукнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода — или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба; по траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомная рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на поскотине, последний прошлогодний лист.

Хозяин направился в деревню.

Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится.

В Матёре были постройки, которые простояли двести и больше лет и не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорей перебраться куда поприличней. Богодул тем более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.

Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин, тоже последнее лето.

Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягивалась во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что

Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истанием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.

Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. «Ток-ток-ток, — стонала изба, — ток… ток… ток…» Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл — смысл службы. И всякая служба имеет конец.

Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его

— Катерина. Катерина, Катерина… Кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.

Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег, часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.

Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду,

ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, потому что огонь — это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей, — верно, солнце завтра не выйдет.

Спала Матёра-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, — приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видениям случайные отгадки.

Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальние зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о последних днях, старухи.

Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево, к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а, на-

бравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго.

7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края, а все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться, когда и куда проскочили последние две недели. И то уж Настасья после троицы потянула три дня — кончились и они…

Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг, он казался удачливей, но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней добираться.

Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь, — электричество в Матёре отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринны опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась,

что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь!

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье — большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла

и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пен-зии». После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. «А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю, без тебя я как без рук. И не просись, не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя». «Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай». «Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся — че ж делать! Я приеду — мы с тобой ишо повидимся».

В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку.

Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с троицы она не выронила ни слезинки, будто и верно поняла наконец — все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами, все всхлипывала,

и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, уставится на Егора — он обернется, а она:

— Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались…

— Тьфу ты, окаянная! — бесился он. — Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тутака нужны?! Кому?

— А как мы там будем?.. — Ив слезы. Через час-другой то же самое сначала.

Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем — вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей — все дома да дома.

Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось — она сказала:

— А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь… куды денешься?

— Давно пора скумекать, — обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.

— Ребят потеряли… где их теперь взять? — продолжала она с раздумчивой покорностью. — А мы вдвоем… может, ниче… Там, поди, тоже люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет — вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не плачь, Егор…

С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубило. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла:

— Ты не плачь, Егор. Че ж теперь… Может, ниче…

Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал:

— Ты, никак, старая, совсем рехнулась?

— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пушай тепло останется. Покамест шель-шевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять — ты че, Егор?!

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.

День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу разгладилось. Под звонким, ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикидывать урожай — хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним. и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото

дня работу — так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.

Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда. Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили — не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный — тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать? — в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях — все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки,

лагуны, щипцы, кросна… А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали только один), точило, железная печка, тележка, санки… А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила в багажную кучу — дед Егор кричал:

— Куды? Куды? Мать-перемать.

— Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишо. В ём воду можно держать.

— Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать… На што тебе ее держать?

Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь, какой был, припас к нему, хотя тоже сомнительно, чтобы ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: «Куды?», — но Настасья решительно отказала:

— Нет, Егор… куделька когды потянуть… как без прялки?

— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. Где ты ее возьмешь?

— Нет, Егор… — уперлась и отстояла прялку.

Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая, под груз, лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до пристани своей моторкой, но дед отказался:

— Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз поглядеть.

Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь.

— Настасья! — позвала она, не зная, дома та

или нет.

— Ниче, ниче, Дарья, — отозвалась Настасья. — Ты заходи. Мы с Егором поедем. Люди живут…

— Собрались? — спросила Дарья, входя.

— Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: «Ты не плачь, Егор, не плачь…» — Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, вздрогнув, умолкла — пришла, значит, в полную память. — Ниче, Дарья, — виноватым шепотом сказала она. — ты видишь… это уж так… — и показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. И жалобно попросила: — Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо…

— И ты меня… — дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.

— Помнишь, у нас ребята были?

— Как не помню?!

— А где их тепери взять? Одне. Я говорю Егору: «Поедем, Егор, нечего ждать, поедем», а он… — Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно — виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет такой помо-

щи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже никому не нужный свет.

Настасья вспомнила:

— Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу Нюню. Возьми, Дарья.

— Какую ишо Нюню?

— Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?

— Ну.

— Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня.

— Дак у меня своих две. Анфиза тоже подкинула — уезжала. Куды я с имя?

— Нет, Дарья, Нюню надо взять, — заволновалась Настасья. — Нюня — ласковая кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как взаправду не пустют — пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази капельку когды бросишь…

— Господи… с Нюней со своей… Попадется на глаза — возьму, не попадется как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

— Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее, и меня

помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее… Ее вот без меня поддержать, чтоб с голоду не околела.

— Ты-то правду приедешь?

— Дак а мы без картофки-то как будем? А ну еж-ли зиму ишо придется не помереть — как без картофки? — Казалось, Настасья говорила это кому-то другому — Дарье она сказала, потеряв голос до стона — Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?

Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили — не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

— Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться..

— Куды один… — махнул дед рукой. — Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова. — Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.

— Ниче, Егор, ниче, — не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.

Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевезти остальное и сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, — его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили — двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз — разбогатели — куда с добром! Но телка паслась на Подмоге — хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук — все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.

Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами

за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя — ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка.

Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

— Отчальную, что ли? — неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: — Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

— Заживе-е-ом! — Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.

Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

— Недолго, суседки. Надоть трогаться.

Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винились, в чем оправдывались, не знали — тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась; если уж понесло, потащило куда-то — что камешки на берегу считать: они на берегу.

— Самовар-то с собой берешь? — спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар.

— А как? — закивала Настасья. — Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.

— Пошто нельзя? — О чем-то надо было говорить — говорили.

— Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.

— Нам тепери ни одна примета не подойдет, — отказала Дарья. — Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроби положить. Как мы там без самовара останемся?

— Там-то он нашто тебе?

— Чай пить — нашто ишо?

— А мы с Егором поедем, — сказала Настасья, перебивая этот пустой, по ее понятию, разго-

вор. — Может, ниче… Счас и поедем, все уж на берег свезли.

И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться.

— Вот, поехали, — обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила из-за стола. — Я говорела… Идем, идем, Егор! — крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись. — Погоди меня, Егор, не уходи.

Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действа, но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены — где он всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась — Егор выходил уже из ворот — и закричала что было мочи:

— Его-ор!

Он запнулся.

— Егор, ключ куды?

— В Ангару, — сплюнул дед Егор.

И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.

— Давай сюды, — прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. — Пущай у меня будет. Я тут буду заходить, доглядывать.

— Ворота закрывай, — не забыла Настасья; она словно бы улыбалась или усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. — А то скот наберется, напакостит. Это уж так.

— Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этом не думай.

— А мы с Егором поедем…

Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в искрении стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубо-

ко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.

Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку — по-другому прощаться она не умела — и, тряся головой, повторяла:

— Ниче, ниче… может, ниче…

Дед Егор поторопил ее.

Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

— А Егор плачет, плачет… — начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды — направо, налево и прямо — по-ясно поклонился Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.

— Настасья! Настасья! — кричали старухи.

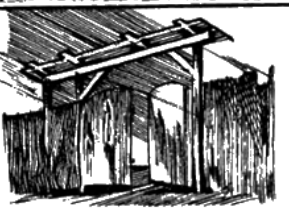
— Ниче, ниче, — стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как

надломившись, упала на узлы и завыла.

Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир; Павел завел мотор — лодку со стариками дернуло и потащило — все быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

Ненадолго еще раз открылась на повороте Матёра-деревня и тут же скрылась.





8

Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая на Матёре. Потом их будет много, в сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по сторонам озарится Ангара, провожаемая огромными, будто в честь ее нарочно запаленными, огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на Матёре задолго вперед остальных.

В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала до конца тут же и догадавшийся, несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до сведения матёринцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она не по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине, перевозиться: будто не сегодня завтра нагрянет за избой музей. Перевозить было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так и переезжать. Корову продали еще два года назад, последнюю живность, подростка поросенка, закололи в апреле, когда стол опустел подчистую; старуха Катерина

собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к Дарье. Как раз в день перед пожаром и перенесла: Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, и Катерина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матёре дни. Оно и верно, веселей, так и так днями старухи сбивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею считался сын, человек не последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затопа, и даже с выбором: захочет — поедет в одну сторону, захочет — в другую; а кроме того, Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого стягиваются слабые и страдательные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха — место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым характером. В том особенном положении, в каком оказалась Матёра, Дарья ничем не могла помочь старухам,

но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им кто смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься — с последней радостью они бы согласились.

Под эту ночь Матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в Матёре, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда ушло солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано; Катерина впервые уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход, и этот малый, перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговором; под вечер приходил Богодул, но с ним

тоже не разбеседуешься, потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать, и Дарья спровадила старика. Себе она постелила на русской печке, там она больше всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать, оставалась деревянная кровать.

Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она или, молясь ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили — сначала в окно и тут же в дверь, и Богодул за дверью (все недобрые вести приносил Богодул) сипло и раскатисто закричал:

— Катер-рина! — Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова. — Катер-рина, горишь! Кур-рва! Петр-руха!

Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край Матёры, плясали огненные сполохи, огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугалась первым страхом:

— Господи! Мы, ли че ли?!

Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку:

— Ну, бесовый! Ну, бесовый! Как знала! Как

знала! Царица небесная! — Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда — домой, что еще только вечером было ее домом. Богодул, заторопившийся было за ней, с полдороги переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню.

Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся «от дыма в легких и от жара в волосах — волоса аж потрескивали». «А то бы хана, — повторял он с усмешкой. — Ижжарился бы без остатку, и не нашли бы, где че у меня было», — и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно и не рассчитывал на веру, он знал Матёру, знал, что и его знают как облупленного, а потому допускал и свою невольную вину. «Я вечером печку топил и лег спать, — лез он с никому не нужными объяснениями. — Может, уголь какой холерный выскочил, натворил де-лов», — и опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него только это и было важно — что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел, он так уверился

в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе — того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал и грозил: «Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы…» — и точил кулаки, пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или с вечера еще не просох окончательно, но казался Петруха нетрезвым и пошатывался, оступался; лохматый и грязный, был он в майке, одна лямка которой сползла с плеча, и в сапогах — обуться все-таки успел старательно. К тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня: на земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошонка и «подгона» — гармошка, которая в Петрухиных руках знала только: «Ты, Подгорна, ты, Подгорна, широкая улица, по тебе никто не ходит — ни петух, ни курица…» Петруха все хватался за нее и все переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз.

Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где — с какой

стороны подбежала каждая и уперлась перед жаром. Как никогда, неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми; длинные уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала, заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сторону, — на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право кричать, узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной — и остальным сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она, понадобится если, удержит около себя Катерину и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что с малых лет было ее домом.

Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас друг в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном событии, сколько бы много ни было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один — легче затем освободиться от стыда. В душе им было нехорошо, неловко, что

стоят они без движения, что они и не пытались совсем, когда еще можно было, спасти избу, — не к чему было пытаться. То же самое будет и с другими избами, скоро уж, — Петрухина первая. И они смотрели, смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет, — так человек с исступленным вниманием вонзается глазами в мертвого, пытаясь заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя.

Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом, — будто было это давным-давно.

Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все — стены, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием — в нем светились ближние, начинающиеся улицей, избы и тоже как горели, охваченные мечущимися

по дереву бликами; им озарялась Ангара под берегом, и там, где она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью; бугор за дорогой, который то выхватывало из темноты, то снова задвигало в нее прыгающим сиянием, казался бурым, опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскаленные угли; высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону деревни — там, там быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь опал, покатились верхние горящие венцы — люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала навзрыд, невидяще кланяясь поверженной избе, которую ненадолго окутало дымом, пока передохнуло, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями выхватывалась, будто плясала, русская печка. Огонь полез по забору во двор, но и тут не захотели его остановить — к чему двор без избы? Кто станет спасать ноги, оставшись без головы?

Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло. По какому-то точно

наущению они оглянулись на Петруху. Они оглянулись и на Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь? Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно подергивая головой: пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже, с той поры, как прибежала мать, терзало, что она не подошла к нему, не спросила и не обругала, не пристыдила, она будто совсем забыла о нем, отказалась от него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь, посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обозлившись, он решился и, подойдя, сказал — да. такое и так нахально, грубо, что и сам испугался:

— Мать, дай закурить.

Она непонимающе и все еще всхлипывая подняла на него лицо.

— Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть, — не остановился Петруха.

Дарья расслышала.

— Я те щас закурю! — негромко, но властно пригрозила она. — Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью

изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту.

Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлел и огонь.

Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом: вот и нарушился порядок Матёры, с одного края деревня оголилась, и теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше, ничем, никаким миром от него не спастись…

Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой — легче будет потом: не страдать, не мучиться в ожидании своего огня и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла.

И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа,

но многие еще дни курится, не остывая, избище и остро пахнет горелым, но не выгоревшим до конца, ничем не убиваемым жилым духом.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост, загодя выбранный на ближнем бугре, откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца, и тут же вернулся обратно.

Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь играющей краской. Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками вышорканный пол и никак не мог зацепиться за него, соскальзывал и смазывался — и вдруг, углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх. Затрещали, накаляясь, стены, и то ли от жара, то ли от постороннего вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось,

стекло в выходящем на Ангару окне. Оттуда, будто поддувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь, свободно вздохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь и продолжая накалять потолок и стены.

Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых прибежавших Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон. Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до Хозяина, которому пришлось ползком выбираться в темноту.

И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуда, как нарисованные, огоньки над живыми еще избами — только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей — их было много. Подняв глаза еще выше, Хозяин увидел дымы над матёринскими лесами, и дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову.

Горела Подмога…

Он видел дым над кладбищем, тот самый, кото-

рый старухи не дали добыть…

Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то ворошa в горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после… и после…

Но он видел и дальше…

9

Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные поездки туда-сюда изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, а какое место определят ему в совхозе, он еще толком не знал, да и никто, похоже, этого не знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство, — куда растолкать многочисленное прежнее колхозное чинство, людей из среднего и высшего звеньев, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь, научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой. Павел готов был идти куда угодно, он на себя много не ставил, но он видел, как снуют, оглядываясь друг на друга, охочие до должностей люди, с какой растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не ведая, куда, к тем или другим, их занесет. Павла покуда поставили на ремонт техники, назначив бригадиром, и сна-

чала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит — спросить будет не с кого, а спрашивать есть за что: техника, и старая и новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а приказчиков успело развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с рабочими — те не знали, кого слушать.

Не работа, а нервотрепка. И лучшего нельзя было ждать, пока совхоз полностью не вытащит из Ангары ноги, не подберет весь народ и все хозяйство и не определится, не устоится новая жизнь.

Когда Катерина перебралась к Дарье, стало поспокойней и Павлу: вместе старухам будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет не поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на сенокос и уборку, сюда, в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров, — ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: «Там видно будет», и он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и

настаивал, боясь, что после уборки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку — сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать: «А-а, Павел Пинигин, который Матёру спалил…» Такой памяти он не заслужил.

Приезжая в Матёру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матёры не отлучался. Поселок этот стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его — хороший поселок, но мало ли их, хороших поселков, на белом свете? Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше. Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр и открывалась перед ним родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплыл — и невидимая дверка за спиной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все

последние перемены.

А что перемены? Их не изменить и не переменить… И никуда от них не деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо — значит, надо, но в этом «надо» он понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И когда, собираясь вместе, маракуя, что к чему, старались догадаться мужики, зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Поставили — и хоть лопни! Будто, как в старых сказках, пустили наугад стрелу, и куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое: не для себя строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей, — директор совхоза, но этот «свой» со стороны явился и куда-то на сторону тут

же и провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы так же спокойно поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это за град заложен, будто бы выматерился и признал, что, будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было сделано, деньги угроханы, и деньги немалые, изменить что-то стало невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться, она все перенесет и примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой, но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких удобствах, создавать большие неудобства? Вот о чем думал и что пытался понять Павел. И не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется и что жизнь в конце концов там наладится.

Надо — значит, надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво

и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут не жил, не работал, не поливал своим потом каждую борозду. Вот оно — гектар новой пашни разодрать стоит тысячу рублей; на него, на этот золотой гектар, посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли ее — она красная, впору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать люцерной по пословице «с паршивой овцы хоть шерсти клок», и неизвестно еще, уродится ли люцерна. Кто знает, сколько надо времени, чтоб приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!

«Нет, старею, видно, — ставил себя Павел на место. — Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. Построили поселок тут — тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — привезут тебе

хлеб, готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет от собственной коровы — привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой коровой, не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, луковку — всё привезут… А где возьмут — не твоя забота. У нас поселок городского типа — вот и будет в нем как в городе, ничуть не хуже. Деньги за разодранную пашню, за то, что будешь сеять-пересевать ее, ты получишь, на деньги эти, что потребуется, купишь. Вон какой выстеклили магазин — любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий… А плохо станет здесь — уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана.

Старею, — признавал он. — Постарел уж — чего там! Считаю, что мать по недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее? Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку, наваливается вторая, еще похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать. Не понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не

возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды? Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с поселком? Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед — и почему бы это не подсчитать заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек».

А возвращался в поселок, заходил в свой дворик, к которому волей-неволей успел прилипнуть, и смирялась душа: жить можно. Непривычно, неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно квартирант и есть, потому что дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься на готовенькое: дрова не рубить, печку не топить… Воду, верно, носить еще приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить — жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок попле-

вывать, никаких забот, никаких переживаний… Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без твердости и надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать, — ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался?

Ничего, привыкнет и к этому…

Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом — в квартиру теперь надо говорить, не в дом, — как вошла, ахнула, увидав сверкающую игрушку — электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые и белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду — будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям — как у них, взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привезти и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная, предовольная и готова была, кажется, приковать

себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты — распушилась, откуда что и взялось? Как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться как угорелой со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками. У Сони к тому же две сестры в Иркутске: одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила как барыня, в квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось туда вырваться, недобро смотрела на ухваты да чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там нагородили с три короба, как хорошо да ладно, культурно да уважительно, свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла, — она и растаяла, поддалась, полетела чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о затоплении и переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош, а кого матушка деревня взрастила да до старости довела — сиди уж, не рыпайся. А вышло, что и ехать в город ни к чему,

город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли…

Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку — все не завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи — и, как великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, уже другую привычку народ возьмет.

Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее — забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как, а когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-ни-

будь Америка, где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.

10

Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня — то сгорело, это сгорело… Больше всего убивалась Катерина по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого дня — после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.

Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в дому не будет, теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия — это уже и не стол, а так… кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Из веку почитали в доме трех

хозяев — самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник — да белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после отца не было никакого.

У Дарьи, у той в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука поднялась? Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и, когда Дарья подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо оттоваривалась:

— Беспутный, дак че…

И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без крова и хлеба, — один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, что с него взять?!

— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. — Всюю жисть ты так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе

тепери и надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, — с досадой спохватилась она, — в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб не всплыть тебе.

— А он может, — вздыхала Катерина. — Беспутный, дак че…

— Вот и поговори с ей, — всплескивала Дарья руками. — Я ей про дело, она — про козу белу… Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — вот дал господь кормильца…

Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского, мужика Алеши Звонни-кова, теперь давно уже неживого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь

подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще теперь согревало ее. И говорила она об Алеше как о своем, и в Матёре она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова.

Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я таковский, — любил он прихвастнуть, — меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну ишо один Алеша Звонников объявился».

Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, — то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый: за что ни возьмется — все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку показать — только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький «Беларусь» на больших колесах — он этими колесами половину заборов по деревне перекрутил, гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет — так за руль, и пошел кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит: «Ты че творишь, Петруха? Опомнись — че ты творишь, куды ездишь?! Тут для того, че ли, место сроблено, чтоб ты его давил?» Он отмахнется: «Ниче ты, старая, не понимаешь. Так полагается. Такая разнарядка на севодни» — и дальше, а Катерина и отойдет в раздумье: кто его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить трактор ровно ходить по полю,

не выскакивать из борозды.

Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним — он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз — колхоз, умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.

Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра — это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только

по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с большими рублями… Но до севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его не водилось ни капли.

Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:

— Дак ежли он такой и есть — че с им самдели? Голову на плаху?

— А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? — подхватывала Дарья. — Он избу сжег, ты ему слово сказала?

— Сама говорела: так и этак бы сожгли…

— Да не своёй же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! Ну!

— Он, может, самдели незначай.

— Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходила Дарья в восхищение. — Ишо бы — конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил — золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал — эва че придумали про мужика. Незначай, незначай…

Катерина умолкала.

— А как такие люди получаются? — пыталась она понять — не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. — Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому — дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не хотел понимать. Глаза заворотит — и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ребятами возилась?

— Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.

— А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже… не до баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я погляжу на Клавкиных ребятишек… лучше самдели с мачехой жить. Родная она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, бедные. А какие славные ребятишки, ласковые, послушные… С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?

— Н-ну, — хмыкнула Дарья, полностью отказы-

вая в этом Клавке.

Речь шла о Клавке Стригуновой.

— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет — был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат — на пользу, другого — на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечалься об ём — он свое возьмет. Никакой правью не поправить. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что без толку. Тепери какой есть, такой и есть. Вся злость вышла… жалость одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.

— Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.

— А-а, че будет, — отмахнулась Катерина. — Мы уж тепери так и так не своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, там и ладно.

— Что тащит… правда, что тащит, — согласилась Дарья.

— Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, — подчищая разговор, вернулась Катерина, — и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой привет — такой

ответ… а-а, — несогласным стоном протянула она, — ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до того лютуют… злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?

— А не доживай до этакой старости, — вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. — Знай свой срок, — и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. — За грехи, ли че ли, за какие держит господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так… Где их набрать? Человек должен жить, покуль польза от его есть. Нету пользы — слезай, приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые… им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала, знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела, — непонятно на что опять осердясь, продолжала она, — что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была, А я была

небрезгливая. А помню: до того мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она, христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет — от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо.

— Дак че — удавку, че ли, на шею?

Дарья не стала отвечать.

— И хоронют оне нас, плачут… оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого помнют… какие мы были, — говорила она. — И жалко нас… потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили. Вот тогды бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че за ее ловиться — во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней останется память, позаметней. А ежли в гроб тебя, как кащею, кладут — дак

ить глядеть страшно. Такая страхолюдина всю допрежнюю память отшибет…

— А мы-то в чем виноватые?

— Ав том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую, доржим. Чтоб нас она оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосле будешь терпеть — перекрестишься, не поверишь. Ниче уж живого нету, все вывалилось, окостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры — нет, милей тебя белый свет не видывал. Да нашто? Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — ив землю… чтоб земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у их время. У их его тоже в обрез.

— Куды так торопиться-то? — отказывалась Катерина. — Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила…

— А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто заместо меня будет жить?

— Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты — пошто ты тогда с Петрухой со своим не можешь сладить? Пошто не живешь

как охота, а по чужой указке ходишь? Пошто всю жисть маешься? Нет, Катерина, я про себя, прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила… Сильно много со мной не сходится…

…Вдвоем и правда было легче и за хозяйственной управой, и за разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а потом и после нее — так и шло время, так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные летние дни. На разговоры подходила Сима со своим неотвязным хвостом — Колькой; заявлялся Богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово; приходила глуховатая Тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потому почти не говорила; приходили на чай и беседы другие, кто еще оставался в Матёре… Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе то и другое, жизнь и смерть… Никогда раньше так подолгу они не разговаривали.

И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь, было что в ней понято.

А впереди, если смотреть на оставшиеся дни,

становилось все просторней и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер.

11

Но еще сумела, всплеснулась жизнь в Матёре — когда начался сенокос. Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам — кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-по-быть под конец в родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто, не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе, отказался поехать — привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!

Полдеревни вернулось в Матёру, и Матёра ожила пускай не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с Подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное

снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницы, чтобы подладить технику на конной тяге, достали литовки — и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось — и поди ж ты! — как раньше, отыскались литовки и оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, косилки — и он подновлял, подгонял, острил, вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, хотя только что помирал, стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись — так же покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, так же назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь, — будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники: тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь оставались только одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре за деревней. Но машину, как нарочно, как в наказанье, что она здесь оказалась, держали на побегушках: за холодным квасом по жаре сгонять или доставить

на луг припоздавшую со скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней подвод. Но это уж действительно из каприза, из игры, в которую, однако, включались все, и включались с охотой.

Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а то и не один, так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к воде — их сразу на тракторные сани и собирались метать. Но это потом, потом… пока управлялись, как раньше, косилками, конными граблями, вязали для копен метлы…

И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придется навеки оставить. Намахав-шись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немо-

лодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был; и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, — с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: «Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы», но в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом:

— Че вам надо было? Че надо было, на что жало-бились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла

спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, — ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза — из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки, по острову разгуливал народ — кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то вдаль,

кто подбирал на полянах первую красную ягоду — и непросто было сразу сказать, свои это или чужие.

Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди — запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощаль-ная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в себе… Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце.

Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные грабли с большими изогнутыми зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день, до обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных для колес, сырых и неровных местах, после обеда брались за грабли. Мужики

ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того — от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!.. Где, в каком краю может еще так пахнуть?!

И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело — так и обратно скоро, не пожив вволюшку в Матёре. Дождь, что ли, брызнул бы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани — и верно, конец проглядывает, куда торопиться?! За сеном и с Матёрой на прощанье не побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человечьих сил осаживать ее — гнали, напротив, злясь на себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и работники не успели еще избаловаться.

По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе — полянка

не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала, благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства человеческие в лад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И казалось, сдвигались плотней в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось, наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что — не понять, не услышать было, но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое, следует отвечать.

Говорили мало и негромко — и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обморочное, сном-духом

чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней «Ты, Подгорна, ты, Подгорна…», сбивал настроение — и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель.

Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула:

— Но-о… это откуль такая божья коровка к нам заползла?

— Извини-подвинься, — возмутился Петруха — не «божьей коровкой» возмутился, а «заползла». — Я не ползаю, я на самолетах, хоть знать, летаю.

Это «извини-подвинься» он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за

сожженную усадьбу пятнадцать рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:

— И-извини-подвинься. А я на что должон существовать? Я должон ехать, устраиваться на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги.

Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками.

— Много наменял-то? — спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые руки не попадали.

— Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не мешайся. Устроюсь — выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова — извини-подвинься.

Два дня он потосковал в Матёре без магазина и нырнул в новый поселок, три дня плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в Матёре, спал без родного угла где придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось крайней степенью бездомности и опущенности, но форс

продолжал держать, выдумывая про себя, что он в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к своей инвалидной «подгорне» веревку, чтобы накидывать на плечо, и «тарзанил» ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березу и запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха, обычно языкастый, и отругиваться не стал — отступил.

…Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди…

12

В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной небесной, угодной полям и огородам, в Дарьин дом нагрянул гость — приехал Андрей, младший сын Павла. Павлу как отцу выпало обойтись без дочерей, четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни, но один сразу же, как только открыл глаза, не вынес белого света и отошел, осталось трое. Старший, женившись на нерусской, поехал на ее родину на Кавказские горы посмотреть, что это такое, да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний, гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матёре, но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе — Соня работала в бухгалтерии и осталась в поселке, — отвел у нее первую очередь и поплыл к отцу и бабушке. Павел ис-

подволь добился своего, вел в Матёре сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как до того наезжал в Матёру.

Дождь оказался кстати: можно было посидеть, поговорить не торопясь; не решались отважиться на передышку своей властью, так ее спустил сам бог. Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе парень, которому армия пошла явно на пользу — уходил туда согнутый, заглядывавший в землю нескладень, а воротился этакий вот молодец с выправленной спиной и поднятой головой, — Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?

— Куируюсь, куируюсь, — даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она.

— Неохота, наверно, отсюда уезжать?

— А какая тут охота? На своем-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да ползали полегоньку, а

вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.

— Кто это, интересно, позволит вам умирать?

— А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами, — незаметно, в свою очередь, задираясь, говорила Дарья. — На это уполномоченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету.

— Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю.

— Пошто я на тебя-то буду бижаться?

— А на кого ты обижаешься?

— Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапивой жарила, чтоб ты на ём сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель…

Андрей смеялся.

— Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.

— Распорядись, распорядись… Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на крыльях летай. И не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все можешь?

Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь…

— Э-э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от Матёры, оттого что ты дальше Матёры носа не высовывала. Что ты ничего не видела. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках такая сила — о-ё-ёй1 Что захочет, то и сделает.

— Это сделает, сделает… — соглашалась Дарья.

— Ну, так что ты тогда говоришь?

— То и говорю. Сделает, сделает… А смерть придет, помирать будет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне ни приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе покуль себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Издали вроде покажется: ну, этот ниче не боится, самого дьявола поборет… гонор такой доржит… А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше. Ты из своей человечьей шкуры хочешь

выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит. Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто до нас жил… Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох, загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуды с земли не деться. Че говореть — сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!.. И отсель, с Матёры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта… Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.

Долго сидели за столом; отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную Андреем, и ничуть не опьянели, только Андрей с лица еще больше помолодел, а Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив нее, и думала: «Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было годов — где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и за-

гладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было… чтоб с другого конца новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так охота узнать, что будет?»



Дождь на улице подбавился и зачастил, на стеклах появились потеки. Потемнела земля, крупными сосульчатыми каплями закапало с крыш; пенясь, остановилась в окне Ангара. И сильнее, приятней запахло за столом самоварным духом, душистей показался чай, который пили теперь уже все, и важней, уместней показался семейный разговор, который они говорили.

— Мало зарабатывал, что ли? — спрашивал Павел, допытываясь, почему Андрей уволился с завода.

— Зарабатывал — одному хватало, — пожимал плечами Андрей. Он старался говорить с отцом на равных, но, еще не привыкнув к равности, както сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его. — Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь мир. Утром радио включишь — ни одно утро не обходится, чтоб о ней не говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод… таких много. В каждом городе они есть.

— Для завода погоду не передают?

— Так и знал, что ты сейчас это скажешь, — спохватывался Андрей. — Для завода и не надо, для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не убежит, а стройку закончат — обидно будет.

Охота, пока молодой, тоже участвовать… чтоб было, значит, потом что вспомнить…

Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом: он скомкал, поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых, он знал это, отец не любил. Павел ожидающе молчал, и от этого неясного, как скрадывающего, молчания Андрей начал горячиться.

— Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть, — то ли доказывал, то ли оправдывался он. — Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое… все, как говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно осталась, а на заводе что? По неделе с территории не вылазишь… Это на машине-то. Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься, развозишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтоб на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому… по-новому. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет.

— Опоздал, однако, маленько, — задумчиво кивая, говорил Павел. — Ее, ГЭС-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется.

— Ну-у, там еще столько работы! Хватит на меня. Самый интерес сейчас начнется.

Дарья насторожилась.

— Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? — только теперь поняла она.

— Туда, бабушка.

— Но-о, ишо не легче… — начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием.

— А что, бабушка?

— Ты пошто другого-то места не нашел?

— Зачем мне другое? Я хочу туда. Матёру, бабушка, все равно затопят — хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется, электричество, — присаживая на сильную шею голову и взяв голос, как маленькой, толковал он Дарье. — Наша Матёра на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить.

— А то она, христовенькая, на вред тут стояла, — тихо и в себя, без желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят, наблюдая больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом

или нет достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя, и, забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а подтверждая для самой себя — никак не укладывалось это в ее голове: — Дак это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?.. Но-но… Гляди-ка, че деется!

— Почему я-то? — засмеялся Андрей. — Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши.

— Ну и не ездил бы туды…

— А что, — осторожно подхватил слова матери Па» вел. — Взял бы и остался здесь. Нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь ваш завод.

Он сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз: не стоило и предлагать — не останется. И верно, помолчав, словно бы подумав, Андрей покачал головой:

— Да не-ет. Из города уехал и к вам?

Можно бы возмутиться: какое право он взял, родившись здесь, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Павел не возмутился, он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын, что нажил он за последние, не связанные с

домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный смысл, — ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он заменит скоро отца на земле — нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его ответы.

— Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидим. — Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее; к новому совхозному поселку он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно. — У нас там будет как в городе, к тому дело идет. Ты был, видел, что творится.

— Видел. Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас.

— Какой тебе нужен интерес?

— Я уж говорил... — Андрей легонько поморщился от нежелания повторить то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем, стало быть, трудно сказать определенно. — Потом семьей обзаведусь, потом, может, и

сюда приеду. А пока молодой, неженатый, охота туда, на передний, как говорится, край… чтоб не опоздать. Вся молодежь там.

— Война, что ли, — передний край? — не пропустил Павел.

— Передний не передний… я не знаю, как сказать. Так говорят. Где горячее самое место, самая нужная стройка. Сейчас все внимание туда. Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и — мимо. Как-то неудобно даже… будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна эта ГЭС… пишут о ней столько. Такое внимание… Чем я хуже других?

— Закончат — снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием? Привыкните ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало покажется. Ты-то, как думаешь, надолго туда, под внимание?

— Там видно будет. — И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно бы обиженной интонацией: — Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает — ей простительно, она старая. А ты-то? — Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как каза-

лось ему, детскому «папа». — Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матёре топтаться… Много ли толку от этой Матёры? И ГЭС строят… наверное, подумали, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу. Жалко Матёру, и мне тоже жалко, она нам родная… По-другому, значит, нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли, долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не понимаете?

Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уже не из его — из другого, из следующего поколения.

— Почему не понимаем? — задумчиво и не сразу сказал он. — Маленько и мы чего-то понимаем.

Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нету. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.

— Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где, значит, трудней всего — там молодежь. Где полегче, попривычней — другие. Все-таки не сравнить — там или здесь, условия-то разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе сделать, она для них — самое главное, они там и живут только для этой работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже… если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом месте… Так требуется…

— Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать, получше, а в другом счита-

ем, что можно как попало.

— Плохо, конечно, — не задумываясь, думая над тем, что еще возразить отцу, кивнул Андрей. — Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет назад, и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то, наверно, и на нашу Матёру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался — и вышло, что земли без Матёры и правда не хватало. А сын его пошел дальше — не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее…

— А почему ты думаешь, что здесь полегче?

Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:

— В старину как говаривали… Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого неволит, — худая мать.

— Это ты о чем, бабушка? — хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла

и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном — точно говорили о бабах.

— А не об этом, — отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.

— Дождь-то как разошелся, — заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей; ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.

Стали смотреть на дождь — как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров; услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, неполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться, что, обновленный чистыми, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных по самому прямому родству, друг от друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверно, спросить давно:

— Когда уезжаешь-то?

— Поживу пока, — улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет. — Куда торопиться?

— Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? — предложил вдруг отец. Ему только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына.

Андрей с охотой согласился:

— Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.

— И правда, — обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: — Вдвоем мы на корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы уж в панику ударились, не знали, как быть. Одному где же… я на работе. Мать там. Бабушка тоже не помощница.

— До смертинки три пердинки, — кивнула Дарья.

Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая почти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным голосом!

— И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?.. Заодно бы…

— Ага, — вспомнил Павел. — Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.

Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинув брови, — всерьез ли говорят, но согласился и на могилы.

13

Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду, наполнившись до краев, — она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась… Вода стояла даже в травах. Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов; только вдоль этих порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег — надо было изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, из-дождившиеся тучи, внизу же не было никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли; обвисли и нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным

согбением, о которое шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая, дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.

Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами как зимой — так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьина изба, в нее сразу же, как только приехал к Дарье внук, перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет — туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют «навар» — под «наваром» разумелась выгода.

— Мне чтоб фатера была, а не стайка, — выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда,

с придурью, с форсом. — Яс матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей маяться. Конешное дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол… Но потребуется — сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь, — «жизнь» Петруха выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово, — к примеру, рассказать…

Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по газетам да по сбивчивым рассказам, но Петруха вдруг засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Пет-руху, у него не без ехидства спрашивали:

— Сюда высылают?

— А куда — сюда? Ежли у нас почты нету? — поражался он людской бестолковости. — Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непогодь эта кончится, подъеду и зараз получу.

— С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?

— Пошто-о?! — Петруха был за полную справедливость. — Я про бездетность сам в детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь… не работал. Ну и что, ежли не работал? Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, о-о-о! С ним не шибко!

— Ну трекало! Ну трекало! — восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал:

— Понимать надо.

В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье — все обман, на который они из сла-

бости человеческого сердца поддались. А правда состоит в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили не зная, чем жили, — зачем знать уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение, и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают не часто, — правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе, — так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь над землей, едва пошевеливая крыльями и правя- открывшимся тебе благословенным путем, чутко внимая

всему, что проплывает внизу; эта возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты — не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, — вот это все запомнится надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколенья людей.

Так отчего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в Матёре долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами: было. Было, да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания.

Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва

ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните.

Но почему так тревожно, так смутно на душе — только ли от затяжного ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, — не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом, отдельно с листом и отдельно с иголкой, каждый кустик веет своим дыханием; пахнет деревом постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за стайкой, огуречной ботвой, старым углем от кузницы — из всего дождь вымыл и взнял розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? Не раньше и не позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?

С утра попробовало распогодиться, тучи отжато посветлели и заворошились, пахнуло откуда-то иным, легким воздухом, вот-вот, казалось, подныряет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к Павлу справляться, будет ли дело. А пока собирались да рассуждали, опять потемнело и потекло. Расходиться не хотелось — сидели, возили всё те же разговоры.

Дарья вскипятила самовар, но на чай почему-то не польстились, видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан. У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился Афанасий Кошкин, или Коткин, кому как нравится, тот так и называл, а Петруха из потехи сливал их вместе и на всю матушку деревню кричал: «Кот и Кошкин, а Кот и Кошкин!» Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на Коткины: новое — так все новое, красивое — так все красивое. Над Афанасием подшучивали — он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, што Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им што — она им, фамиль-то, не родная, она им што платок на голову — сёдни одна, завтрева другу одевай. Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня… я и задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: «Поллитру ишо дадите, дак берите». Никто не видал: в четы-

ре ноги кинулись, однем духом выставили.

— За поллитру, значит, фамиль продал?

— Дак, выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам над етой буковкой крышку сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто. А расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был Кошкин, и есть Кошкин. А оне как хочут.

Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой, даже не домой, а на деляну, — Вера, пока суть да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но уходить из тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова — эта давно бы и стриганула, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же, — к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадежно

махнула рукой:

— А-а, ниче не жалко стало…

— Жалко-то, поди, как не жалко… — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.

— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее. — Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут… Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё каку-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.

Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям:

— Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить.

— Без хлеба, че ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.

— Покеда не сидим…

— Ну горлодерка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья. — Ну горлодерка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.

— Раньче не было, теперь есть.

— Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне как собаке пятая нога, — дернулась Клавка.

— А ты ему дак прямо сильно нужна, — обиделась, в свою очередь, Катерина.

— Вам че тут жалеть, об чем плакать? — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дергалась головой вперед, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. — У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера… Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко будет. Такие уж вы есть… обсевки.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет, почему вы ниче не видете? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу

подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.

— Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка.

— Жалко, — сказал Андрей, — За что тебе ее жалко-то?

— Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тук Пускай бы стояла.

— Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться — как же! Это ты говоришь — бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.

— Почему…

— Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду… Ты тоже не любишь ее прятать.

Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етим думала, — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю. — Надумь другой раз возьмет,

дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пущай я такая… А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала… ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать — поглянется. Мы-то однова живем, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.

И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матёрой крышку,

теперь рассосалась, — было серо и размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни.

— Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, — приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и поднялся. — Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша седни уплыла, будем чаи гонять.

Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая, принималась сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а может, и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной глубокой и сонной задумчивости.

Была она в Матёре не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала — не столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекую старину сюда заходили тунгусы, — и так оно, наверно, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего — это и была Тунгускина дочь, немолодая без-

мужняя женщина. Прошлой весной, когда они приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по чьей-то подсказке привезла свою старуху в Матёру, где появились свободные избы. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север. С огородишком она почти не возилась — так, грядку, две, да и те запускала до крайности — или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась, никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай, когда усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила. Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше.

Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли — что усаживалась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье — не встанет. Старики в Матёре тоже, бывало, примащивались курить на пол — вот она откуда, выходит, привычка эта, — еще от древних тунгусских кровей.

— Пришла? — отрываясь от чая, спросил Афанасий. Тунгуска кивнула.

— Вот тоже для чего-то человек живет, — философски заметил Афанасий. — А живет.

— Она добрая, пускай живет, — с улыбкой сказала Вера Носарева.

— Да пуша-ай. Ты в совхоз-то поедешь? — громко, как глухой, крикнул он Тунгуске.

Она, не успев сомлеть, опять кивнула — на этот раз уже с трубкой в зубах.

— Ишь ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет.

— Дался вам этот совхоз, — задираясь, опять начала Клавка. — Прямо как бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза — опомнитесь, не то запоете. До чего капризный народ: че забирают — жалко, хошь самим не надо, в сто раз лучше дают — дак нет, ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают, то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка Дарья ладно, — сделала она отмашку в сторону Дарьи, — с нее спрос, как с летошного снега. А вам-то че ешо надо?

Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула:

— Дали б только корову держать… Косить бы дали… А так-то че? Другая жисть, непривычная,

дак привыкнем. Школа там, до десятого классу, говорят, школа будет. А тут с четырехлеткой мученье ребятишкам. Куда бы я нонче Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать не надо. — Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно, представленной, захотелось свести… — Этот поселок да в Матёру бы к нам…

— Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная, — закричала Клавка. — Это опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить… Как в тюрьме.

— Привыкнем, — откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой решенное слово Афанасий. — Конешно, привыкнем. Через год, через два… тут Клавка в кои-то веки правду обронила… Через год, два довелись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труды положим, дак што… Нас с землей-то первым делом оне, труды, роднят. Тебе, Клавка, не жалко отседа уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай, — остановил он ее, — мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читалкам мышковала…

— У меня грамота…

— Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов — у-у! — много надо трудов, чтоб землю добыть. За што и браться… Найти бы тую комиссию, што место выбирала, и носом, носом… Эх, мать вашу растак…

— Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да покрепче привык.

— Может, и так. Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику — он из любой заразы вылезет. Так, нет я, Павел, говорю? Што молчишь?

Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся: говорила мать — он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий — он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. «Что же это такое? — спрашивал себя Павел. — Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни скажи, все без разбору впитывает внутрь? И где правда, почему так широко и далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть какая-то одна, коренная правда? Почему я не могу ее отыскать?» Но чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился, и если не вынес для себя в

твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то потому лишь, что мешали этому боль прощания с Матёрой да горечь и суета переезда — чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному человеку бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти. И молодые понимают ее, видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые, им жить дальше. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой Матёре, за сегодняшней жизнью не поспеть.

— Привыкнем, — согласился Павел.

— Как думаешь, добьемся, нет хлебушка от той землицы? — спрашивал Афанасий..

— Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся — свиней будем откармливать или куриц разводить. Счас везде эта… специализация.

— Дак я на своем комбайне што — куриц теребить буду?

Бабы оживились.

— Сделают приспособление — и будешь. Чем плохо?

— Хватит пыль глотать, вон почернел весь от ее.

— Перо полетит, дак очистится.

Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно, занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то, как обычно, мелко и согласно кивала.

— Што, бабы, — руководил Афанасий, — будем закрывать, однако, собрание. Засиделись. Дарья уж самовар допивает. Какое примем постановленье? Переезжать али што?

— Без нас давно приняли.

— Пое-е-хали! Там, на большой земле, и вниманье на нас будет большое.

— Только клопов, тараканов лучше вытряхивайте.

— Как ты, Тунгуска? Будем переезжать?

Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно где плутавшие глаза и кивнула.

— Ты, Дарья, тоже собирайся. Без тебя мы не поедем.

Но Дарья не ответила.

— Глите-ка, — спохватилась Вера Косарева. — Дожь-то вроде присмирел. Засиделись, засиделись… Воду толочь — дак вода и будет. Я побежала. Крикнешь, Павел, ежли че. Но сёдни уж не кричи. Сёдни я побежала.

…Дождь, дождь… Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова забарабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрызгало — словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли и небо, и себя — за то, что живут под этим небом.

В один из таких не устоявшихся еще, шатких дней — не дождь и не вёдро, не работа и не отдых — приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воду. Народ собрали в грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах; не было и стола, за который бы устроились приехавшие, — они, дав между собой и народом небольшую, в три шага дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов — о том, что надо закончить сенокос

по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на него так, будто он свалился с луны: что он говорит — дождь за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он токовал свое. Представитель из района, по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и скуластым, как у всех местных, лицом и голубыми детскими глазами, который, быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию, — представитель этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл сюда: надо, чтобы к половине сентября Матёра была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища.

— Дак мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода… — несмело возразил кто-то.

Песенный развел руками; отвечал Воронцов:

— С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны

убрать. И мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут.

Но люди, изнуренные ненастьем, и объявленный крайний срок гибели родной деревни приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за картошку пораньше. И мысли пошли в сторону: выкопать — ладно, выкопается, а как ее перевозить, куда ссыпать? Где взять столько мешков? По семьдесят, по восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем всегда. Тут чего проще: при нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать — огород под боком, а туда, наверно, понадобится снаряжать все одним разом. Вот и задумаешься: что делать, как быть?

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он завзглядывал

кругом себя героем, а после собрания подошел к Воронцову и Песенному для беседы. О чем была меж ними беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху, что-то долго говорил Песенному, а тот вынул из кармана блокнот и стал чиркать в нем карандашиком.

И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября. Полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца — не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже без Матёры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза: где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят, походят осенние дни над Матёрой-островом, приглядываясь, что случилось, отчего не несет с острова дымом и не звучат голоса, пока в свой час один из дней, на какой это падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова.

И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

14

Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял, привалившись к дверному косяку, отдельно от всех, как человек посторонний, послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:

— Но-но.

Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли, глядя на Матёру, вся остальная земля? Но уже тише, покорней Дарья добавила:

— Вот так бы и человеку. Сказали бы, когда помирать — ну и знал бы, готовился… без пути не суетился бы…

— Что ты, бабушка! Зачем же знать?!

Она не ответила — может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся представлять.

— А забавно было бы. Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя, где год рождения, год смерти рядышком стоит. — Он натянуто, чужим смехом рассмеялся. — Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят, сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало — иди дальше, не работник; кому много — давай сюда. А захотел, к примеру, жениться: покажь, покажь, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым делом: ну-ка… Нет, бабушка, поморщившись, задумчиво отказался он, — не надо. Пускай будет как есть.

Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный — первый знак того, что идет наконец погода. Временами соскальзывало и солнце — то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув, возле деревни, по поскотине, по полям и по лугу и сне-

сется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи — тоже чуют, что к чему, не просто так; слышнее и чище стали звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом. И Павел поверил: все, конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел натворить дождь, — не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять начинать работу.

Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который состоялся в день его приезда:

— Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?

— Помню. Как не помню.

— Почему тебе его жалко?

Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для серьезного ответа эти слова:

— По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка.

— Да почему жалко-то, я спрашиваю. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?

— Ну, приспичило. Сказала и сказала. Я, может, так сказала, непроста.

— Не так ты сказала.

Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.

— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло… Не-ет, он тошней того — ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж — че там!..

— Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? Все на машинах. Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет, что они могут делать. Теперь

уж не осталось такого производства, чтоб самому упираться. Где ему надса-диться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про старого человека говоришь, который сто лет назад жил.

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

— Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

— Есть, говорят, такая.

— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и бог, парень. И хошь не верь — изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того — человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас

работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянитесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догоняли, не догоняли те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека… себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится? — Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, варенную с утра для коровы картошку, и продолжала — Я на отца твого погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев,

как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют… Упаси бог! Глядишь и думаешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте. Гро-моток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобился.

— Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом… Живем, и все. Кто как может, так и живет. — Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо.

— Живете… Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живите… Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя.

— Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?

— А я тебе про че говорю? — обиженно споткнулась она и вздохнула, опомнясь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не говорить — что толку! Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матёру, а она, вместо того чтобы поднять и вознести до срока и действа этого душу, берется рассуждать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж так ли они несчастливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? Но Андрей ждал, ему для чего-то нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскивая, с чего начать, потерянным до полного смирения голосом неуверенно сказала: — Ну и жалко… Ить только посмотреть на его…

Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять:

— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет,

то и делает. Это не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется... И говорит... он хитрит на каждом слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится — не скажет, промолчит. Надо идти в одну сторону — он поворотит в другую. Опосле опомнится — стыдно станет, обозлится на себя... а раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она все-о помнит, все дор-жит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет. Э-эх! — Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг — чего прежде и в голову не пришло — явилось недоверие к этому вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать бабушку — она продолжала: — Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя, что

кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притворить-ся? У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она, Гутька, молоток за убор-ну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтоб доску прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.

— И ты, бабушка, тоже?

— А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит сделать как надо — нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, по-куль народ хлестался, есть бог

али нету. Прости, господь милостивый, прости меня, грешную, — перекрестилась она в дверь, мимо Андрея. — Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют.

— Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая. Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова, и повернулась к Андрею:

— А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру — ежли вы все можете, ежли вы всяких машин понаделали… Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когды землю спускал, он ни одной сажени никому лишной не дал. А вам она лишная стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут.

— Нету, бабушка, таких машин. Таких не придумали.

— Думали — дак придумали бы.

И, то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не

жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется… По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит. А ишо смерть… Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь…

Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной, в прихожей, где одно окно выходило на Ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело.

— Господи! — виновато прошептала Дарья. — А я про смерть… Не иначе как с ума, старая, сошла. Не иначе.

Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая, что только зайдет на ночь, а утром выйдет и примется за работу.

Дурноматом кричали петухи; кричала скотина;

где-то гулко и торжественно бухало железо.

15

И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от него и отступали — и наконец, как льдины, растаяли совсем. К обеду небо полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымила белым, молочным парком, который тут же сгорал под солнцем; готовились кваситься лужи, в< них со вниманием заглядывали, словно решаясь наконец научиться плавать, курицы, в них бродили поросята, но без жары не ложились, только примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист — лето, зна-

чит, будет долгим. Ровные в дождь, резкие и ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья из какого ручья вода.

После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с каким до того шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды — и домой. Хватит жить нараскоряку: одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой — рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду — где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды, — как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор?

— Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать, — попрекала себя и мужиков своих Да-

рья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом только и умны.

— Можно было, — пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. — Только он не сказывался, когда кончится. Можно было и сгноить.

Один Андрей не унывал:

— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим. Я хоть завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копен?

— Ежли картофка уродится, пошто не хватит.

— Уродится — куда она денется?

Веселел от этой уверенности и Павел:

— Может, с кем сговорюсь впристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не будет. — Он еще по привычке говорил «колхоз».

— А поправитесь, могилки, Павел, могилки, — не забывала Дарья. — Покуль могилки не перенесете, я вас с Матёры не пущу. А нет — дак я сама тут остануся.

Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с бабушки на отца: неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и выгребать то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда

еще и его не было на свете? Зачем? Предстоящая эта работа и пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила: интересно. Интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле тридцать, сорок, пятьдесят лет, и не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода-племени — дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, не испытанные еще чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь похожее. Это особый случай, особая история, которые наверняка не повторятся.

Но известно же, что человек только предполагает… Назавтра вдруг как снег на голову: Павла срочно, с посыльным, вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом.

Павел лишь на минутку забежал домой, приехав с луга, куда за ним гоняли машину, едва переоделся и без чаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула:

— Когда назадь-то ждать?

— Не знаю, — на бегу отмахнулся он.

Андрей в тот день косил. Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте

— на правом дальнем берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, чтобы острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, прямо с луга туда должен был завернуть отец. Но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей узнал, воротясь в потемках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал — так что поверила и она:

— Утром приплывет.

Однако утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить — заворачивать далеко, долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен провалилась в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока добралась до места, — Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого корьем еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и пригождавшегося в минуты отдыха

или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под солнышко на поваленную траву — ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотрелась.

Андрей не столько накосил, сколько напутал, — видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, растерял, что умел. Валки топорщились высоко, сквозь них торчала уцелевшая, ростовая трава, прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть, — значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью: нет, ничего из загаданного не будет. Ничего не будет, не стоит и надеяться. Все впустую.

Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Не досмотри — он в кусты, где ягодка… И как он один живет?!

Но она для того и пришла, чтобы снять его с

работы. За день она извелась и, когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась: пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом. Бог с ней, с косьбой: приедет Павел — накосят, не приедет — один Андрей так и этак не справится. Но она уже мало сомневалась, что на этом нынешний сенокос и закончится. Что нынешний! Никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли?.. Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать косьбу, она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля на Матёре своя, но эта из своих своя: сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, но сколько и снято, испытано радости!

Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыло картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, а затем тепла хорошо, богато пошли огурцы — снимай хоть два раза на дню. И Дарья

снимала, жалея, что некому их есть, вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки караулили чуть не каждый огурец, размечая еще на гряде: этот твой, а этот мой… Давно ли, кажется, такое было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь оглянуться — жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать: вчера, сегодня, ну и, может, немножко завтра.

В огород теперь, когда появилось что клевать, лезли курицы, опускались и небесные птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на крестовину палок свой старый и драный малахай; не найдя подходящей шапки, повязала сверху грязную тряпицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть. Она, она… Встать вот так посреди гряды, раскинуть руки — и ни одна курица не подойдет, ни одна птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа… Господи милостивый! Или так надо?

Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям, история эта скоро не кончится… решили не косить. Но Дарья думала уже не о сене, она перепугалась:

— Дак он-то при чем? Его там не было. Он тут был. Пошто его-то таскают?

— За технику безопасности он отвечает.

— Ну и че ему тепери будет… за эту опасность? — За век свой Дарья давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого пальцем покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз.

— Ничего не будет, — как всегда, уверенно отвечал Андрей. — Потаскают, нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут. И все.

— Это он тебе говорел?

— Он говорил. Я и сам знаю. Известная штука.

Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах, — все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер приплелся Богодул и долго сидел, скырнькая на Андрея зубами, который тоже, в свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил из-за стола и, насвистывая, напевая что-то, стал укладывать

чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает.

Раньше Дарья не стерпела бы свиста: «Ты кого высвистываешь, кого из избы высвистываешь, такой-сякой?» Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков.

После, когда рассерженный, недовольный ею Богодул ушел, Андрей с возмущением спросил:

— Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую? Это же не человек, это зверь.

— Пошто не человек? — с какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью отвечала она. — Он человек.

— Какой он человек? Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину. Страх берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может, по-звериному рычит да бурчит.

— А я его и без лишнего разговора понимаю. И он меня понимает. Я ить, Андрюшка, потеперь ищу, кто ровня мне, не как-нить. Сама-то я лутше, ли че ли? Никого уж не остается, кто бы меня понимал.

Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей

стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу… ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой.

А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина снова перебралась к Дарье.

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после ильина дня отрезно, как после свадьбы, никто не купался, потому что «олень в воду написал», нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось

тяжелым и мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая, но уже чувствовалось, чувствовалось время: ночами было студено; ярко, блескуче горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось и в душе, сиротя и сжимая ее; по утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошью Ангару; а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем они могут свезти.

И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер где-то далеко, за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя и буйства не доходило.

Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни населились косить два дома: Кошкины или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на

корову. Почти одна же, потому что от девчонки на двенадцатом Тоду пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться опять за литовку. А там бы видно было… тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить! Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась — нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?!

Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых высыпало видимо-невидимо, — будто за все оставшиеся наперед, оборванные годы. Где стоит хоть одна сосенка или елочка — обязательно густой россыпью маслята. Подошли и грузди, осиновые и бере-

зовые, но эти всходили степенно и разборчиво, без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыденок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу — там росла голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать «воронью ягоду» — жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. Вот и имя чудное, какое-то нечистое и жидкое, раньше на Матёре его не знали. Другое дело — смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом, было мало, только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые

гари. Но для брусники еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть.

Дарья ждала Соню, невестку, думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не казала — так, видно, поглянулось ей на новом месте. Не все же время она работает… Ну да как хотят, им жить. Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел, привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке, неподвижную фигуру, отлетающую словно от какой-то посторонней пущенности, и тяжело, устало размышляла: нет, не хозяин себе Павел. И не Соня им руководит, этого он не позволит, — просто подхватило всех их и несет, несет куда-то, не давая оглянуться… своим шагом мало кто ходит. Уехать разве к Ивану, второму сыну, в леспромхоз? А что там? Сторона хоть и не дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын. Может,

съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить Матёру. Проводить Матёру и лучше всего к своим — туда, где своих в десять раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, кто там, и вдруг вспомнила старика своего — Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: стала забывать о нем, редко, совсем редко приходит он на ум. Господи, как легко расстается человек с близкими своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа, муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит — волосы рвет на себе от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно — от одного отца-матери — встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся — каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк, потерявши подругу, отказывается жить…

Одно лишь находилось у Дарьи оправдание, да и то если искать его. У Мирона, у старика ее, не было своей могилы, над которой можно посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыски, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки — попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старик и был, это она, применяя его к теперешним своим годам, говорит «старик», а ему тогда едва перевалило за пятьдесят, в самой мужицкой поре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить: отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле другим, чем видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронул сердца. Выстудилось

оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем, — той же Матёрой… Неужели и о Матёре люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают так скоро…

«Прости нам, господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она. — С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уж не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землей: все вижу, а понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора… Пошли за мной, господи, прошу тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родне… к той, к которой я ближе».

Текла в солнечном сиянии Ангара… текло под слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матёра, омываемая той и другой течью; высоко над головой возносилось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару — время не остановится, и то, что казалось одним движением,

разойдется на части. Уйдет под воду Матёра — все так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. «Что небу-то до Матёры? — поправляла себя Дарья. — Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются». И все же что-то в Дарьиных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее, рассуждениях обрывалось, для чего-то полного и понятного не хватало связи. И билась, билась короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время…

И хотелось с чем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.

Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины:

— У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит?

— Кто говорит? — испуганно отозвалась Катерина.

— Не знаю. Я седни пришла в себя, а я вслух разговариваю. Навроде как кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с им говорела.

— Царица небесная! Об чем спрашивал-то?

— Все смутливое, тяжелое… И не сказать об чем. Видно, с ума схожу. Скорей бы уж, ли че ли…

16

Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние, дни. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, — все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже молодые, разудалые. В первый же день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что на завтра двоих пришлось отправлять к врачу. И на завтра они шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени: пожалейте, не губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они,

чувствовалось, хоть и задирали его и потешались над ним, но и побаивались: не человек — леший, мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый и красноглазый, с огромными, как у обезьяны, руками и цепким пугающим взглядом, он поневоле внушал к себе почтение, а когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем есть грех, а может, и не один за убийство, Богодула и задирать стали меньше. Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище — «Снежный человек», на что он, как и положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матюкался.

Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли: не свое собирают — не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля родит в последний раз, а могло случиться так, что и нынче б уже не родила — все равно… Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в поселок и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против прошлых колхозных лет, могли бы управиться двоими силами, но почему-то отдали на откуп этим… А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательного переезда, опять

в деревне остались в сторожах одни старухи. Перед тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели — все ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запоры.

А время шло. День да ночь — сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведенная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было различить со стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, отставший от работников, то ли похмельный, то ли больной, почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки, заставляли

колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне, и тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех.

Днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принес урожай. С полей доносился приятный, будто и не машинный вовсе, стрекот комбайнов: на одном работал свой, матёринский парень из семьи Кошкиных, на другом — кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу рядом с пинигинским покосом подогнали баржу, которая доставила на остров вторую машину и трактор и в которую ссыпали от комбайнов зерно. Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь подвозили приезжим продукты и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Это ведь как: только покажи одна, и пошло-поехало… Кудахтанье и визг раздавались каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками, большегрузная платформа.

Видать, видать конец… И назначенный срок не опоздает, и люди не оробеют — вон как взялись, сколько понагнали рук!

На Подмогу, где не было полей, только выпасы да леса, высадилась другая бригада — эта из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать на Матёру — хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала Подмога — вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем леса. Дула низовка, и весь дым с Подмоги несло на Матёру — не видно в иные часы было неба, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались:

— Что делают-то? Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и Матёре недолго пыхнуть. Сушь такая… Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит.

А не свои, больше некому, подожгли в ответ мельницу — или по чьей тихой команде, чтоб потихоньку подчищать, или без нее, из одного

озорства: все равно гореть — ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать — мы свой добудем, с треском, с огоньком! И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны, от Подмоги, а с верхней, слева от деревни. Кроме как мельнице пылать было там нечему. И, воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже улеглась:

— Пойдем простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их — никто добрым словом не помянет! Пошли, Катерина.

— Куды? Об чем ты? — испугалась та; всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали — не беду ли оно несет, не о худом ли скажет?

— Мельницу запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит.

На подъезде возле горящей мельницы, и правда, толпились одни приезжие. Что делает огонь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них действует? Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар — кто

дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, залез на березу и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом, — на парня и на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха… На березе свертывались, подрагивая, листочки, западали с жаркой стороны тяжелые ветви, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей.

Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже потерялась в огне — казалось,

он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал; верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость.

Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих, но немолодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе — где было и услышать в том гуде и треске!

Постояв рядом, мужик спросил — в голосе его прозвучало участие:

— Хорошая была мельница?

— Хорошая, — без испуга ответила Дарья.

— Понимаю, — кивнул он. — Послужила, выходит, службу. — И протянул: — По-е-ехала!

Слово это — «поехала» — не выходило потом у Дарьи из головы и стало главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки, — и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный жердями плот не плот,

паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали. Несло горький черный дым с Подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо — поехал, христовенький… Тянули к берегу зароды — пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как в бочке, а собственные где-то терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза — пустела Матёра, свободно было взгляду.

Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими, подговорила их спалить и ее избу — не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удовольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть — не пустили огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский простор. Разъединилась, распалась Матёра на две стороны…

В тот вечер, когда «поехала» мельница, Дарья с

Катериной, воротясь в темноте С пожара домой, натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они сидели перед запертой дверью: Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то наговаривала ему, Она торопливо поднялась навстречу старухам и, как всегда, когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась:

— Пустите севодни к себе… боимся мы. И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно… так страшно…

Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:

— Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!

— Кого убьешь? — всполошилась Дарья. — Как я тебе ее дам? Ишо правду убьешь! Ты че это? На кого так?

— Гр-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их… — Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.

— Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо сам живой был…

Но Богодул снял берданку и унес — разве что попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много не спросишь — таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.

Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке… Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из старых, из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал — он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке, Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул — этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покря-

кивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали:

— Эй ты! Партизан!

— Снежный человек!

— Турок!

— С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?

— Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?

— А у Ивана Грозного не хошь?

— Да она у него и не стреляет.

Богодул только и ждал этих слов.

— Выдь! — показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. — Выдь, кур-рва!

Но охотников проверить на себя, стреляет ли берданка, не находилось; Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.

17

А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли, — после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей — и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от Матёры да от самих себя отво-

рачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли.

На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клава Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить, а Петрухе она — дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жалуется. «Сытый, пьяный, и нос в табаке», — будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах.

Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:

— Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самделе последнюю голову потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по

земле ходить хочет? О-ё-ёй!

Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

— Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи — не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папи-рёсу запалил, и грейся — куды тебе с добром! Подволошна — деревня большая, версты на три, однако что, растянулась… Там ему работенки хватит.

Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья сказала:

— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи — кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм… Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — прости, господи!

— Пущай другой… пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти Славушку надел, ему не отмыть ее будет.

— А нашто ему отмывать? Он и с ей проживет не хуже других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе попе-

чалься. А он че: эта работенка кончится, другая така же найдется.

— Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать…

— Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколь жить собралась — сто годов, ли че ли?

— Может, поехать туды? — не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. — Очурать его? Сказать: че ты делаешь?

Дарья с удовольствием подхватила:

— Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят — подволошенские али матёринские? Он тебе заради праздничка, что ты приехала, две, а то и все три зараз запалит — ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы… Ну?

И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был

Петруха и останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит пет-рухаться, такая ему судьба. А ей судьба — быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди… Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно, сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится — ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку? Дарья… Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой… и жить-то уж ничего не осталось…

А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте. Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положе-

ние, место, на котором он стоит. Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается, разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним внучонком на руках, — тоже была бы тише воды, ниже травы? А что поделаешь? — наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой же, как Сима? — совсем ведь разные люди.

Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной: ярче обозначились окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака — устало,

беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова — будто тоже тени слов настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала:

— А много ли, кажись, надо… Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб пристроился он, беспутный, куды… Занялся человечьим делом. Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, глядишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пущай бы он на меня ругался, пущай хошь че — я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.

— Женить его надо, — недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе. — Ежли ты с им не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы взяла. Иначе толку не будет.

— Кто за его, беспутного, пойдет…

— Дак ежли бы он маленько за ум взялся — пошто не подти?!

— Он так-то добрый, — обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья, значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для

него пусть слабое, ненадежное, но спасение. — Сердце у его мягкое…

Дарья наверху, на печке, хмыкнула:, как не мягкое… мягче некуда.

— Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас телка была… не доглядишь ежли — весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером под ворота и кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню — она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть — съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст — сам-дели уйдет. И раньше корова была… увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо ей кинет. Тоже подкармливал. А сколько этих щенков перетаскал! Где он их только подбирал?! Особливо ежли нетрезвый — ну обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на их кричать. Кажной кусок надо бросить, и их, кусков-то, на себя не хватало. Нет, он ниче не понимал.

— Ишь, до чего добрый! — не утерпела, ковырнула Дарья. — Собак блудящих он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это

не его дело.

— Беспутный. Я говорю, что беспутный, — привычно ответила Катерина. — Он и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю, чтоб растянуть, по норме даю, а он как попало. А потом, под весну, и бросить нечего.

— Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь, как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куды? Ты об етим подумала? Она мне про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету.

— Я и говорю… — Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости и надежды звучал пусто. — Ежли бы он куды пристроился… дали бы угол…

Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы на цветы да не морозы…

Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив Кольку, Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону.

Сима сказала:

— Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним. Внучонка бы дождаться, нянчиться…

— Ой, не говори, Сима, — простонала Катери-

на, не смея и надеяться на такое счастье. — Не говори.

— У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда голову приклонить. У меня хоть Коляня есть. Для него из последних сил надо жить. А как жить? День и ночь думаю, день и ночь думаю: как жить? куда двинуться? Нашелся бы старичок какой…

— Господи! — взмолилась Дарья. — Ить это надо! У самой уж… а она все про старичка! Ну… Какого тебе ишо старичка, невеста ты, прости господи, на семьдесят семь дырок. И из каждой песок сыпится. Че ты у старичка делать будешь?

Сима обиженно молчала.

— Ну, на что он тебе? По каку холеру он тебе потребовался? — добивалась Дарья. — Пошто ты нам не скажешь?

— Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего. — Если «Дарья Васильевна», не на шутку, значит, разобижена Сима. — А мечтать никому не запрещается, да. Катерина мечтает возле сына жить, и я мечтаю. Мне тоже охота свой угол иметь. Я не так чтоб совсем старая, на домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В мои годы люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг

возле дружки старость принять. И Колька бы рос, у меня об Кольке забота. Я об чем попало не мечтаю. А на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы», и сготовила.

— Годисься, годисься…

— А если тебе мечтать не о чем — че ж… Не наше кукованье. Дети в люди вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову… Не все же плакать…

— И песенку старичку бы спела?

— А славный старик бы попался, и песенку бы спела. Он бы послушал.

Теперь замолчала, отступив, Дарья, смущенная позабытым словом «мечтать». Симе ли его говорить? Дарье ли его слушать? Мечтают в девичестве, приготовляясь к жизни, ничего о ней еще толком не зная, а как почал тебя мужик да обзавелась семьей — остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше, и она тает, как снег, пока не истает совсем, впитавшись в землю, — и вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся из-под земли воспоминания. Ну так Сима — что с нее взять! В мечтания ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть некуда, все места заняты. А летать — крылышки не те. «Хошь Сима — да мимо», — вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и

будет, не иначе. Но, размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей, Дарье, от завтрашнего дня не надо… Не то что мечтать — куда там! — не то что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в одну сторону. На что ей, верно, надеяться? На смерть? Этого не минуешь, на это можно не тратить надежду. А на что еще? Не на что. Стало быть, скоро и помирать, если жить больше не с чем. А Сима с Катериной подержатся, поживут, и не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже не все еще вышли, а потому, что есть у них туг дело: Симе — поднимать мальчонку, Катерине — беспокоиться о Петрухе, надеяться на его выправление. Они кому-то нужны, этой нуждой в себе они и станут шевелиться, от нее же никому ничего не требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и конец. И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки.

Стало еще светлей и неспокойней — вышла в окно луна. Все бренчала и бренчала жестяным

голосом одуревшая собака — прямо в уши вонзался этот навредный лай. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать — и так захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полым лунным светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. «Как вареный», — вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья — надо было что-то сказать — спросила:

— Уснул мальчонка-то?

— Уснул, — услужливо ответила Сима. — Давно уснул. А ты че?

— Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, посмотрела, вы со мной гово-рели али не вы. Полезу назадь.

— Ну и кто с тобой говорел? — спросила Катерина. — Мы, нет?

— Кто вас разберет? По голосу навроде вы, а по словам — каки-то молоденькие. Ох, че щас

Настасья наша — спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас поминает. Она ить не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю жизнь не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать.

Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:

— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того — злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде незлая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут — ну и пущай. Оне хозяева, ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не надо. Так, нет я, девки, говорю?

«Девки», не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.

— Уснули, ли че ли? Ну спите, когды уснули.

Скоро, однако что, рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет — ишо потопчемся. Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем, люди говорят, твоему сердцу болеть. Только пошто оно так болит?

Хорошо, ежли об чем одном болит — поправить можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет. Никакого спасу. Сильно, выходит, виноватая, Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи, спи… Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когда боле ниче бы и не было, можно жить.

18

Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая лишней воды, — сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что пришла пора копать картошку.

Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись — после них и прошел этот благодатный, очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне; верещали бабешки, кого-то

успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит, больше того стравливая, сшибая злость со злостью; всю ночь как полоумные шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром, перед отплытием, на жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали. Только они отчалили, вышел из кустов на верхней протоке еще один из этого же войска — покорябанный, грязный и страшный в свежих лохмотьях на одежонке, имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в деревню — как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у него, видать, что-то осталось, каким-то чудом сумел развернуться внутри и выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился, стал, отойдя, смотреть, как горит.

Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще и в темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей — то, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессо-

ванный под ногами назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым — дым больше так и не сходил с Матёры.

На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на глаза живая курица — загоняют и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха: зажав вдвоем меж ног, его уже доканывали. После этого чудо какой голосистый петух уже и не кукарекал, а только жалобно поутино-му крякал, — смертный страх даром ему не прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали вверх — игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склоненную спину. Просто швырять картошку — хулиганство, а с пером — игра. Играли — такой народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверно, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали наблюдала: галдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтобы ненаро-

ком не убежали, но кто работает — подвигается споро, вырывает ботву как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистя себя, готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза, а теперь, перед смертью, и ей было все равно.

В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин — из конторы, больницы, детсада, столовой — откуда только можно. Совхозное начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде всего прибраться на дальней и неудобной Матёре, сюда и гнали людей. И прибрались, верно, быстро: в прежние годы самая бы страда, самая работа, а нынче — все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались: сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена земля. За центнеры никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток — чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время обходиться без того, что давала эта земля.

Из матёринских баб на совхозную картошку мало кто ходил: сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь

в отличие от сенокоса не сходились вместе, не пели песен, не вели о подступающей жизни бесед — торопились, каждый жил в своем доме, в своем огороде своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло. Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц: четвертый куль — твой, но скорей, скорей… Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой паром — и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась и сквозила Матёра. Да и какие песни — полдеревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! Горели уже матёринские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать — туда, на дым, и плыли.

Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на Матёру. Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матёре

устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работой своей и казались они страшными — той последней окончательной работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матёру. Они вышагивали молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо, посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей — пока не поджарили. Они ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, Богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то Воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться, разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то они, глаза видели перед собой их.

Картошка напоследок наросла не просто бо-

гатая, а дурная: два куста — ведро, два куста — ведро. А ведра, конечно, не базарные — свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, картофелинами, охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай, с берега на паром или катер ворочай, а подводу надо караулить, потому что на деревню осталась одна кобыленка, всех остальных увезли, а машин не осталось уже ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох мучились с этим богатством! Но самое страшное оханье: куда ссыпать там, в поселке? Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил свое овощехранилище, едва заполненное до половины, но это только подумать хозяйке: в одну огромную общую яму ссыпать свою картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к черту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит! Что тут говорить! Не у себя

— не свое. Да на двенадцать деревень никакого и подземелья не хватит.

Но это там, там, впереди… Здесь же надо было поскорей выкопать и увезти, чтоб не унесло водой.

Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался небольшой докопок. Отпросился с работы Павел, впервые за лето приехала Соня, но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну а раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что ни скажи — ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она поначалу и не понравилась Дарье.

— Как, как, говоришь, ее зовут? — нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая.

— Мила.

— Мила? Разй есть такое имя?

— Есть, — смеялась приезжая. — Есть, бабушка, есть. А что?

— Ишо не легче! Раньче это парень любую дев-

ку мог так скликать. Все милки. Частушки про их складывали. Нешто не слыхала? А тепери телок так зовут.

— Телок? — пуще того заливалась работница. — Ты, бабушка, скажешь… Значит, я телка? Похожа я на телку?

— Однако что, похожая, — с удовольствием соглашалась Дарья. — Тогды правда что Милка.

Работница копала два дня, и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами терпит такую дребезжалку — пускай, христовенький, отдохнет маленько. К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

— Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой… У их хорошие бывают наклички. У нас, помню, Зойка была — куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за

веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей. Есть они — ха-ха, и нет — ха-ха! К таким и горе придет — не поймут, что горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет близко к сердцу, все в леготочку, вся жизнь — потеха. И верно — чем плохо? Где бы такому научиться?

Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли, во всю имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного края. Да еще сколько копать! Это значит, возить не перевозить. Дарья намекала, что надо бы помочь Катерине, увезти и от нее мешков пять; на Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет, а старухе где-то жить, что-то жевать.

— Куда я их?! — не отказываясь, не зная действительно, что с ними делать, пожимал Павел плечами.

— А свою куды?

— Что не войдет, придется пока на веранду высыпать.

«Не войдет» — это в подполье. Павел промучился с ним с месяц: привез с Ангары песочку, сделал

настил и избавился-таки от воды (хорошо еще, что дом угадал на взгорке: у кого в низине — там не избавиться), но теперь оно стало заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону — возни не оберешься: подполье цементированное, а отроешь — как знать, не забулькает ли снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть.

Соня, копавшая два дня внаклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее как на незнакомую: потолстела, одрябла, остригла на городской манер и закручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В Матёре не до болезней было, тут и фельдшерицы не

усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворый, и назад.

— Как там — ндравится? — осторожно спросила у Сони Дарья.

— Да уж не здесь, — не объясняя, с какой-то злостью ответила она. А что «не здесь» — хуже, лучше? — поди разберись.

И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет другим. Тут она жила в своей избе, все кругом на десять рядов было своим, идущим от нее, и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею — это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе, — пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без того, чтоб над кем-нибудь не командовать, это ему самая сладкая служба, и чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом наверстать свое.

Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили картошку, вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. Отставлять наперед больше было некуда: наступила та самая, объявленная крайним сроком, середина сентября.

Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку, — по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой. Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих запасов, картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила — мало ли что! Разбогатела на двадцать рублей и Сима — этой совсем некуда ничего девать, не на что рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже сверх того, принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась, половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела.

Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из него куриц — неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню последним: опустели кормильцы. Только кой-где торчала еще морковка, да свекла, да редька. Капусту, зная, что не дадут ей затвердеть, мало

кто сажал. Не видя больше надобности в себе, заваливалась городьба, ветер позванивал на высоких грядах высохшей тонкой огуречной травой, ерошил бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала ее, как и раньше, в копну, а увезти, пустить в корм скотине отказалась и она: больше того мороки. Не до ботвы — хорошо хоть сено переправила, и тому не могла нарадоваться.

Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться и за ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни и ссыпали картошку на пол, а для чего копали, для чего ссыпали — чтобы сгореть ей вместе с избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жареными на корню рыжиками, которые подбирают, когда палят лес, — вот так же, может случиться, испекут и картошку. Но и в земле оставлять совестно — как, правда, допустить, чтоб не выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки Настасья приехать, раз сулилась, — как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из Ангары в самый последний момент, когда будет не до копки, а сгрести времени много не потребуется, сгрести

они ей пособят.

И выкопали — нет Настасьи…

Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву — Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливалась она выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. Долгими часами стояла стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею веревку и повел, Майка послушно пошла — куда угодно, на что угодно, но прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром, дала себя привязать, отвернувшись от Матёры, кося глазами на далекий противоположный берег.

Дарья, провожая ее, заплакала.

— Ну что, мать, — еще дома сказал ей Павел, — может, и тебя сразу соберем? Больше как будто тут делать нечего.

— Нет, — твердо отказалась Дарья. — Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб просто так

с Матёры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть че делать.

— Подожгут скоро, мать…

— Пущай поджигают.

И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спрашивать:

— Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?

Павел сник, на него было жалко смотреть.

— Видишь, как все нынче получилось, — стал оправдываться он. — Собирались же… если б не эта… А теперь когда? Я три дня сменщику задолжал. Наверно, не выйдет, мать. Не мы одни…

— Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут, — предрекла она. — О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилок?!

Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого разговора, на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше чем наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью: снималась с земли, отлетая в небо, сосновая пустошка за поскотиной, и бесцветное, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя то выскакивало вверх, то опадало. Если бы не треск и гул, доходящий оттуда, и не понять

бы, что пустошка горит: дыма от нее почти не отличить было от приносного, стелющегося над Ангарой, чужого дымления. Дул слабый, угарный верховик, в горле у Дарьи першило, голова кружилась, ноги ступали наугад. Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукоток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо.

Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, на первой же полянке, чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок — то, чему помешали старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды — один конец. Много чего было видано и вынесено с той поры — сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого — ну и ладно, что дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к своим, а идти туда со смутливой, несогласной душой не годится, пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец…

Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная когда-то ею же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды. А в изножье стояла сосна; в ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в помине не было, она взошла позже от вольно упавшего семени. Холмик давно уже казался Дарье чересчур коротким, она не раз удерживала себя, чтобы не прилечь, вытянувшись, и не примериться к нему, понять наконец, скатилась ли с него за долгие годы земля, или, верно, так невелик человек. Ветки рябины и сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что, быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участие тех двоих, лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное…

Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только

на кладбище и чудится духом человеческого избывания.

Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил, и, покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько объявилась:

— Это я, тятька. Я это, мамка. — Голос был неверный, вяклый, и, помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникновения тоном. — Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я, на меня пало. А я бестолковая, не знала, че делать. Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила… я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь че? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет… А я, клятая, отделюсь, другое поселенье зачну. Кто

мне такое простит?! Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она уткнулась лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали. И туда, в траву, в землю, горько пожаловалась: — Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму. Сами видите. А меня-то вы видите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо… рази можно меня к живым? Я ж туда непригодная, я вашего веку. Мне к вам… я бы избу ишо проводила и к вам. Пушай огонь, вода… — Она подняла голову и поправила платок. — Избу нашу, тятька, не седни-завтри тоже… тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну?

И вдруг ей пришло на ум — будто донесло угадывающимся шепотом откуда-то издалека-издалека: «А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы все в ей жили». Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась: «Приберу, приберу. И как я из памяти выпустила? Сама бы должна знать. Приберу».

«А ишо че? — надеясь на ответ, спросила она. — Ишо че мне делать? Как быть-то мне?» — и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая

в одно слабые проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не сказалось. По-прежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды, — могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они, — не стыд ли?

Дарья подняла глаза — в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску, длинные тени казались закругленными и твердыми — вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки, — было еще не время. Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лица-

ми. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней… Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной…

Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: «Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так».

Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет

земля, — отметила она. — Седни, как никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без. связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше… Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его — солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.

А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не

устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше — впереди или позади? И кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного продергивания — зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной матёринской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она, — и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было — то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись,

станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

«Устала я, — думала Дарья. — Ох, устала, устала. Щас бы никуды и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти».

И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.

Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездоч-

ки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий «царский лиственъ». И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.

19

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский лиственъ» — так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его — тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки лиственъ присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет

стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в пасху и троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то лиственъ может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имелись свои причины.

Толстые огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны — будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «Пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая матёринская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради

ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.

И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «Пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.

Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».

За век свой он наронял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, — и кора со временем сползла, лиственъ оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкие, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощ-

ное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, лиственъ издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление — и только, все остальное казалось цельным и литым.

А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.

И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз разве-

сти как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя лиственъ, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, — с такой силой он спружинил обратно.

— Ого! — изумился мужик. — Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два — четыре. Не таких видывали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Лиственъ вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором,

попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

— Как железное, — признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу: — Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять — двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленной костерок. Оставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

— Вот так, — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть

могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, лиственъ как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

— Гляди-ка ты! — удивился тот же мужик. — Стоит! Ну постой, постой… — Это был веселый мужик, он баском пропел: — «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».

Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к. лиственю всей командой — пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

— Ну зверь! — с восхищением щурился на лиственъ веселый мужик. — На нашего хозяина похожий. — Он имел в виду Богодула. — Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть — тридцать шесть.

— Плюнуть на него, — неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя — в болотных сапогах. — К чему

нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

— Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

— Пилу надо.

— Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

— Я говорю про бензопилу.

— Не пойдет. Ишь че: ширше… — следовало непечатное слово. — Для него твоя бензопила — что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

— Разводили же вчера.

— Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

— Давай попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обклады-

вать лиственъ высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин — не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

— Как дважды два — четыре, — победно крикнул тот, веселый…

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а лиственъ под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей

собственной.

— Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, — согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:

— Плюнуть на него — и дело с концом! Пускай торчит — хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались…

— Все бы плевали! — разозлился бригадир. — Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут — куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

— Было бы это дерево…

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее — пила зашлась высоким

натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом — не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, — результат один. И бригадир остановил пилу.

— Неповалимый, — сдался он и, зная теперь листве-ню полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. — Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

— Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь…

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломов уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский лиственъ» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли матёринские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели

березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

20

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не могу» нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала — не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку. Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.

Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.

— А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:

— Ну что, бабки, — перед ним они были все вместе — Дарья, Катерина и Сима, — нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам — доканчивать свое дело. Давайте не тяните.

И Дарья заторопилась — не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край Матёры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновре-

менно, по отдельности не вырвать.

Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:

— А я свою не прибрала.

— Ты ж не знала, как будет, — хотела успокоить ее Дарья.

— Не знала, — без облегчения повторила Катерина.

Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась — сначала на четвереньки, — хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:

— Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.

— Сиди! — в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее немощь.

Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя. Руки

совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить ее не учить, за жизнь свою набелилась — и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: «Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе». И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться.

Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже пожогщик — они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:

— Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!

— Завтри и поджигай, поджигатель, — остановила его сверху Дарья суровым судным голосом. — Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать — чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?

— Запомнил, — кивнул обалдевший, ничего

не понимающий мужик. И, поозиравшись еще, ушел.

А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет — и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает — нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать.

Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей известки.

И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с

беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.

— Давай мне, — вызвалась опять Сима.

И опять Дарья отказала:

— Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.

Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю — так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать — спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.

Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги — это пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

— И правда, спятила бабка, — сказал один веселым и удивленным голосом.

Второй голос оборвал его:

— Помолчи.

К Дарье подошел некорыстный из себя мужик

с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к «царскому листве-ню». Мужик, кашлянув, сказал:

— Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все… переезжайте. Ты меня слышишь?

— Слышу, — не оборачиваясь, ответила Дарья.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою беду и обиду заплакала — сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра — и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!

Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет. Плакать — значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не виновата — в том разве только, что зажилась. Но кому-то надобно,

видать, и это, надобно, чтобы она была здесь, прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матёру.

В обед собрались опять возле самовара — три старухи, парнишка и Богодул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные съехали. Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину, а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя, чтобы Богодул немедленно снимался с острова.

— Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, — разъяснял он. — Райисполком устроит. Давай-ка собирайся.

— Кур-р-рва! — много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся тылом.

— Ты смотри… как тебя? пригрозил, растерявшись, Воронцов. — Я могу и участкового вызвать.

У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?

— Кур-р-рва! — Вот и разбери: понял или не понял.

Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо — то и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.

За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

— Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?

— Японский бог! — возмутился Богодул, широко разводя руки. — Нар-ры.

— А завтра и я к вам, — пообещала Дарья.

После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вы-шоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не кон-

тора, дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.

Сколько тут хожено, сколько топтано — вон как вы-топтались яминами, будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.

Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью, — и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота. Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим.

Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом — ну да недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.

Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила. Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает, ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а продолжение никуда не денется, будет.

И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, что там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на Матёре — все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.

Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних, примытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с Матёры, но пахло

еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке земли. «Откуда же это?» — поискала Дарья и не нашла. «А оттуда, из-под земли, — послышалось ей. — Откуда же еще?» И правда — откуда же сырой земляной дух, как не из земли?

Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. «Правильно, значит, догадалась про пихту», — подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра — тоже, поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда идти, как на дальнюю и вещую посланницу.

Она отыскала пихту, которая сберегласъ для нее и сразу же показала себя, нарвала полную

охапку и в потемках воротилась домой. И только дома заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит. Устали не было, и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались неслышно и самостоятельно.

Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный, застывший лик. «Чует, ох чует, куда я ее обряжаю», — думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила, забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.

Жуткая и пустая тишина обуяла ее — не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках ветер. Все кругом точно вымерло.

Собаки на острове оставались, три пса, брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матёре, кидаясь из стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.

Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.

И всю ночь она творила ее, виновато и смиренна прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.

Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики.

— Все, — сказала она им. — Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой…

И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза.

Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.

Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле «царского лиственя». Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела, как сносит с острова последние дымы.

— Вставай, мать, — поднял ее Павел. — Тетка

Настасья приехала.

21

Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь вперед-назад, слабо выстанывала:

— А Егор-то… Егор-то!..

Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить, не верить в смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это время еще больше, и если здесь она выдумывала про старика, будто он без конца плачет да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и как ни в чем не бывало палит свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы она хоронить живого, что дело дошло уже до этого. И страшно представить, что деда Егора нет…

Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе громоздилась гора посуды. Дарьин самовар стоял на полу возле единствен-

ного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом — у другой, не пахло даже мало-мальски жилым духом.

Но выбирать, искать что поприличней не приходилось: к этому часу только он, колчаковский барак, и уцелел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, в горячем пепле время от времени что-то донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела Матёра — царство ей небесное! Этот барак не считается, он, рубленный чужими руками, и всегда-то был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже пожогщики и под вечер на заказанном заранее катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих изб, прятались

Сима с Катериной.

— Ну что, бабки, с вами делать? — сказал один. — Неумные вы старухи — так и так ведь сгонят. А нам пережидать… ну вас! Мы лучше в баню поедем, вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело.

— Слышь ты, бурлак! — окликнул второй Богодула. — Чтоб в целости не оставляли после себя, не положено. Спички-то есть?

— Кур-рва! — рыкнул Богодул, а Сима, испуганно и обрадованно засуетившись, перевела:

— Есть, есть у нас спички. Есть. Мы сами.

Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел с поскотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень замшелый — Богодул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:

— Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал.

Она не стала даже отвечать.

— Ладно, — подумав, согласился он. — Раз тетка Настасья тут — ладно. А через два дня я возьму катер. Слышь, мать: через два дня. Завтра я в ночь работаю. А послезавтра будьте готовы. И мешки

прихвачу — может, увезем вашу картошку.

Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались совсем одни, но уже не впятером, уже с Настасьей вшестером.

Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матёрой боль, Настасья рассказывала:

— Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю: «Ты пошто, Егор, не выйдешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники». А нас так и зовут другие-то, кто не с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормо-очем, бормочем… Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то… А он все дома, все один. Радиу разведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю: «Пошли, Егор, че люди говорят, послушай. Че хорошего ты по воздуху-то наслышишь?» Нет, он уткнется, ничем его не оттащить. На меня же ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделался. А сам пла-ачет, плачет…

— Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала? — замирая и стыдясь своих слов, кото-

рыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья.

— Как поехала-то? — не понимая, переспросила Настасья. — Куды поехала?

— Да сюды-то поехала?

Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.

— Он бы плакал… Он бы плакал, дак он уж… он как плакать-то будет? Он опосле-то уж не плакал, когды помер, — вы че это?! Лежит, весь такой светленый, светленый, он-то, Егор-то… Я убиваюсь над им, я убиваюсь… — она опять закачалась вперед-назад, — …а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит, молчит…

— Схоронить-то пособлял кто, нет? — спросила Катерина, и Настасья, словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:

— Схоронить-то хорошо пособили. Че зря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла… Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лесенке заехал — «заезд» называют. Гроб откуль-то добыли, привезли, матерьялом обтянули — я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая… не погляди, что старуха, что в такой же деревне жи-

ла. А от как-то пообвыкла, как тут и была, и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал… Весь остатный свет — радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: «Че там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься?» — «Посевная, — грит, — идет». — «Какая посевная? Какая посевная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, — говорю, — решился?» — «А эта посевная, — грит, — круглый год идет». Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, лишнего не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачный сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. Я спросю: «Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?» Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался, до последнего часу ерепенился. «Он слышишь, — грит, — бонбы кидают?» — «Это, Егор, не бонбы, — я ему говорю, — это землю спуста подрывают, чтобы не копать». Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кончилась. А он-то никуды

не ходил, это я ему доносю, что так и так. «Ухозвон, — грит, — ухозвон замучил». Только на этот ухозвон и жалился, боле ни на че.

— А помер спокойно, не маялся?

— Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то бог и мне так. Днем говорит: «Поди, Настасья, возьми красненького, чей-то я весь отерп. Возьми, — говорит, — я кровь подгоню, а то она завернулась ку-ды-то вся». Я пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я пошла ишо через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины — так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы, уж вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. И назад в постель. Мы с им нарозь спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку складыватся. Лег — и вижу: глядит на меня. «Че, — говорю, — Егор, можеть, надо

че?» — Голос у Настасьи напрягся, она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая, за ответом. — «Можеть, — спрашиваю, — надо че? Я же вижу, что он неспроста смотрит. — И откачнулась назад. — А он ниче и не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал, — ишь, он боялся напужать меня. А чуял, чуял смерть. — Она опять прервалась и покивала. — Чуял, чуял. Я свет убрала, легла и заснула, непутевая. Заснула! — выкрик-нулось у нее, но она тут же поправила голос. — А ночью пробудилась — слышу, дожжик идет. Че это, думаю, он — с вечеру-то ни одной тучки не видать было. Там хошь и плохо небо видно, да я все по привычке смотрела. И дожжик такой ненаровистый, тихий. Ой, думаю, че-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился, ишо и землю не замочил. А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я потихоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе нашто нужон-то был? Нашто, — вдругорядь спрашиваю у Егора, — он тебе нужон-то был?» Он молчит. Я за огонь, шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то, Егор-то…

Настасья заплакала.

Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали; испуганно

теребил за рукав Симу мальчонка, она слабо отпихивалась. Со свистом гонял в себя и из себя воздух Богодул. Не дождавшись, пока примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сени и стал булькать там водой.

— Баба, баба, — взялся за голос Колька.

Настасья, обернувшись, заметила его.

— Все с тобой Коляня-то? — спросила она у Симы.

— Со мной, со мной, — торопливо ответила Сима. — С кем он ишо будет? Пока живая, куда я его?

— У нас с Егором тоже ребята были, — сказала Настасья. — Вот Дарья с Катериной должны помнить. Помните?

Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили.

— Дак че — вру, че ли, я? — с обидой выкрикнула Настасья.

— Господь с тобой, Настасья, — сказала Дарья и, успокаивая, повела рукой по ее спине. — Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала — вот и хорошо, что приехала, вот и ладно. Мы-то тебя ждали как… Кар-тофку твою мы выкопали.

— Каку картофку?

— Твою-то. Из твоего огорода.

— А-а, — отмахнулась Настасья. — Куды я с ей?

— Куды-никуды — не пропадать же картофке!

Спохватились зажечь свет, ан нет: у Богодула, как у таракана, светить нечем — ни лампы, ни свечки, а свею лампу Дарья оставила в избе, и она, поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так, значит, надо, и до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше: не стоит все время перед глазами это убожество и кочевье и не пугает завтрашним днем. Причесали Матёру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, и, чудилось, всё — никто не приедет и свет не вернется, а их, прилипших к Матёре, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет последний час. И, будто чувствуя это, жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима.

Богодул занес вскипевший самовар, поставил его опять на стол, на ощупь отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками. Никто не спросил ни сахару, ни хлеба — казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть остался чай. В дыру

в окне тянуло свежестью; Сима, пряча от нее Кольку, зашебуршилась, стала укладывать его — Колька продолжал хныкать. Скоро чуть посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:

— Цыганско солнце, кур-рва!

— Ты самовар-то увезла — ставила его там, нет? — вспомнив, спросила у Настасьи Дарья.

— Два раза за все время ставила, — со вздохом сказала Настасья. — Один раз при Егоре ишо, а в другой — уж опосле. Аксинья черепановская пришла, давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода не дай бог мореная, ее там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла. И углей нету. Она же, Аксинья, шишек сосновых насобирала, залили самовар и по лесенке вниз его, на улицу. А где ишо греть? Боле негде. Сидим с ей, караулим, а народ кругом ходит, смеется. Она, Ак-синья-то, боевитая, ниче не боится. Замучилась ждать — без трубы тяги никакой нету, шишки наши как каменья. Ну, дождались все ж таки, надо назадь тащить. У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых ногах кой-никак туды заползаю со своей одышкой. На кажной ступеньке стою. Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье — хоть и немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит,

у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ей там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, мы как засели — самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет — ну и давай, ну и давай.

— Назадь поедешь, нет?

— Ой, да не знаю, Дарья. Ниче покуль не знаю. Я бы и рада не поехать, дак куды меня?

— Ты там, поди, не привязана.

— Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка там — как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь доведется, это надо в одночасье помереть, чтобы вместе лягчи. Я уж узнавала. Кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронют, кто с кем угадат. Ой, да мне-то долго не продержаться — все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не знаю, зиму перезимую, нет ли… Думаю, поеду, проведаю вас, на Матёру в остатний раз гляну. И зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела?

— Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не видала, ли че ли?

— Ниче я не видала. Я не видала, как и сюда-то приплыла, как на пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на Матёру напоследок поглядеть, так приспичило… свету белого не вижу. Ниче не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти не будет. Нюню, кошечку, привезу. Ой, — спохватилась она. — Нюня-то моя живая? Я и не спросю. Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?..

— Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою…

— Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.

— Вечор ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в продушину залезла, а может, бродит где.

— Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то буду? — В темноте Настасья засморкалась, закачалась.

Дарья вдруг подсказала:

— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али Богодула. А то про Нюню…

— Ык! — отказался Богодул. — Гор-род! — и возмущенно фукнул.

— Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала, — обрадовалась Настасья. — Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёринские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.

— Я не знаю, — растерялась Сима. — Надо, наверно, разрешение брать. Могут не дать. А так хорошо бы…

Настасья вздохнула:

— Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушко, он недорогой… Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах — у меня ажно голова закружилась. Ну, приехали. Дак нашто и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку — рупь. Да это че, думаю, деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! Я так ни с чем и обратно поехала. Нагляделась зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой, наживаются выше головы. Куды оне столь хапают, нашто имя?! Ой, да че говореть! У нас локуль за телку деньги оставались, дак жили. А потеперь не знаю. Сулятся

за Егора пензию назначить. Не знаю. За фатеру ондай, за огонь ондай. Можеть, ниче, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ниче не надо стало. Другой раз крошки в рот забуду, не возьму, и он не попросит. Как святая сделалась. В чем душа держится.

Завозился, укладываясь с краю у двери, Богодул, и Настасья умолкла. Часто, раз за разом, вздыхала Катерина, не слышно было ни мальчишку, ни Симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику, смутной рябью падал на стены и лица, тенетил дверь напротив окошка. И завороженные этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.

22

Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала, и Павел, замкнув лодку и поговорив со сторожем, подволошенским стариком Воротилой, прозванным так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим, направился было за десять верст в гору пешком, но ему неожиданно повезло: уже где-то на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме над острым, строгим и морщинистым лицом и сам, без просьбы, остановился и подсадил. Спрашивать, куда едешь, не надо было: дорога от сворота вела только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой и удачной попутке домчал Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в поселок мужик притормозил, молча, кивком головы ответил на благодарность и повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху, возле самого леса.

Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными,

правильными рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны — влево и к Ангаре. Собственно, поселок слева и оставался, улица, по которой поднимался Павел, была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные постройки — гараж, мастерские, заправка, котельная, а еще дальше — баня. Она Рабочей и называлась. Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и пустынной; один Павел и шагал по ней, держась жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами, — там разговаривали, бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо, собаки (всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили — после того как участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не половину их перестрелял), там, за заборами, устраивалась своя жизнь и свой порядок, быть может, высаживались даже черемуха и березки. Здесь же, на улице, как и на всех без исключения улицах, было просторно и голо — ни единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли,

или считалось, не надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без умолку мотоциклы — гоняют, поди, обучаясь, пацаны. Мотоциклов этих развелось — в каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Иркутск, их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом: и мы, мол, не лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем. Не понимая этой торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне обзаводиться мотоциклом и ему. В Мате-ре он был без надобности, там все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод — хоть куда довелись — на своих двоих не находишься… Это не Матёра.

Что верно, то верно — это не Матёра. Вот и не стало Матёры — царствие ей небесное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче же сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она… И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пережитое, — и

лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по далеким берегам определить место Матёры, пристально вглядывающегося в темную замершую массу воды — не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, не блеснет ли где огонек. Нет, ни знака, ни огонька. Поперек воды, если править с берега на берег, еще можно сказать: тут — потому что где-то в каком-то месте ее пересечешь, а повдоль — нет, повдоль даже приблизительно не угадать, где ж, на какой линии она, христовенькая, стояла, обетовала, куда она залегла… Все — поминай как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боли: будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потери. Хватит, хватит… никаких сил уже не осталось. Теперь не придется изводиться Матёрой, сравнивать одно с другим, ездить туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу — теперь, и, взыскивая с новой жизни здесь, в этом поселке, придется устраиваться прочно, врастать в нее всеми уцелевшими корнями.

Павел повернул влево и, скосив на одну улицу

— так было ближе к дому, — пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел, только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы со всем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом сгинуть и не сгинул. И верно, печей, банек здесь не топят, дымокуров не разводят, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял; Павел стал вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде, и выходило, что не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в уголу и преет, сквозь него уж трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но представил, что могут прибежать: что горит? — и плюнул, оставил, хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь с оглядкой, на все ждешь указаний. И, возвращаясь опять мыслью к Матёре, к сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспомнил, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул, тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное чувство, — не пень ведь горит, родная изба — и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления,

что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа! Точно оправдывая в чем себя, Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни: после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел. Все, что требуется, они делают — и детей рожают, и работу справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал, что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то, на какую-то волю, себя, и бывает, надолго; и где он был, куда отлетал, что делал — не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает прочней, делает все, чтоб крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами — и так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в какое-то свихнутое и чужедальнее, как у лунатика, состояние, когда шевелиться шевелишься, но без головы, только лишь по инерции.

Выплеснулись единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюми-

ниевой краской водосточной трубой был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчего-то, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь. Хорошую, даже по нынешним временам, выстроили школу — веселую, в три этажа, приподнятую надо всем остальным, окнастую — и если поселок действительно походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными ульями, то они, постройки нежилые — школа, магазин, детсад, столовая, даже баня, — пятнали, разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А как, верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, ходил в эту школу, а его вызывали бы на собрания и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно, не бывать и этому. Вот отчего за самое горло берет тоска, когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас, ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь — и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил он опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит она в этот поселок. Что-то не давало, не пускало поверить — хоть ты что делай! — ни в какую невозможно было это представить себе, перед глазами тотчас опускалась пелена.

Отсюда, с горы, стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши домов струились с улицы на улицу живыми спокойными волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль; с полей доносился натужный вой трактора, все еще гомонили, растекаясь по улицам, школьники, и горько, страдальчески взмыкивала раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова. Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним-единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка. Здесь же, над головой, небо уже остыло и смеркалось, клонясь туда же, в сторону Ангары. Было не как в Матёре, где сразу после солнца прохватывала свежесть, — было кругом тепло и сухо, и шло это тепло от нагретой за день земли и построек, чувствовалось, как пахнет от них краской и бензином.

Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против леса, дошел до калитки и остановился, высматривая, нет ли среди бродящих в кустах, потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было. Павел заглянул в щелку в заборе и увидел, что она во дворе.

До чего умная корова — и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, по лесу, она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — хоть убей — не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с собой ничего не может, таким уродился.

Что-то не хотелось ему идти домой… Не хотелось, и все. Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись — будто осторожно сносило их той же течью властительного времени. Слетел с осины напротив красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило его и вынесло на дорогу, продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и без мысли

чему-то кивнул: так и должно быть. А что так и должно быть, о чем подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство — поди разберись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он уезжал с Матёры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде, но сейчас вдруг стало не по себе. И не «вдруг» — что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. Но как опять же было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет, от старух она, конечно, никуда бы не поехала. И без старух, будь она совсем одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не сумев хоть немножко успокоиться на родной земле, возле этой избы.

И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку…

Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел в дом — пора было укладываться, утром рано на работу. Соня, ожидая его, сидела внизу, в кухне, и вязала, из большой кастрюли на полу тянулись красная, зеленая и черная нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин навезли какой-то редкой, не то

рижской, не то парижской пряжи, и конторские, все без исключения, опять же чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В Матёре от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам и рукавицам износу. В них воду наливай — не капнет, не то что Сонина, со сплошными дырками, как кружево, по моде работа.

Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала:

— Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя.

— Кто такой?

— Петруха. «Где, — говорит, — моя мать?»

— Вспомнил про мать…

— Я и говорю: не рано ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал бы, пока затопит, потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или пьяный. Одинаково боталит.

Павел не стал расспрашивать, что такое «боталил» Петруха, ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы: пускай поможет послезавтра перевезти старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал — только куда, в какие хоромы, в какое

царство-государство станет он ее забирать? Но это уж не его, не Павла, забота. На него, чувствовал и предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой и Богодула, провожать обратно Настасью. Будет еще мороки, будет… Но не это, в конце концов, страшно, с этим он как-нибудь бы управился, больше всего пугало его, и мыслью не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного наперед, — что будет с матерью? Отсрочка на один день ничего не даст; оглянуться не успеешь, как вот оно, послезавтра, и надо ехать за нею, надо перевозить…

Только он поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги, и по громкому, нарочитому упреждающему этому стуку Павел догадался: Петруха. Легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был — вот уж кого нельзя было ожидать — Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал «здравствуйте», кинулся зыркать своими круглыми, навыкате глазами на круглом же и румяном лице по углам.

— Павел Миронович, — быстро и требовательно спросил он, — где у вас старуха?

— В Матёре, — уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел.

— Как в Матёре?! Ты же ездил сегодня туда!

Почему в Матёре?!

— Я-то ездил, да она не поехала.

— Шутки шутить будем или что будем?.. — вскинулся, растерявшись, Воронцов. — Как не поехала?! Что значит не поехала?! — Он, все еще не веря, осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх.

— Нету, нету, — остановил его Павел, а то бы он и наверх полез. — Зачем я обманывать буду? Нету. Там. Не нажилась, говорит. Осталась пожить.

— А моя мать? — вскричал Петруха — ну прямо сердце кровью, можно было подумать, окатилось у него в эту минуту о матери. — Тоже там?

— Ну если ты не снял ее оттуда — тоже там.

— Когда?! — завопил он. — Когда я сыму ее! Я только сёдни с задания воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреич скажет, — сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед самым носом грязной, перебинтованной почему-то черной тряпицей рукой. И по этому истовому взмаху, по горящим глазам и выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха нетрезв.

Воронцов передернулся.

— З-задание! — вскипел он. — З-зад-дание! Мать у тебя почему в неположенном месте находится, пьяница ты несчастный?! Твое задание, чтоб она

здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь?! Есть указание, оно всех касается! Понимать будем или что будем?..

Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько Петрухе, сколько, конечно, ему.

Но Петруха решил обидеться.

— Я, может, и пьяница, — он исподлобья оглядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания, — но чтоб нещастный — и-из-вини-подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреич. Я на себя такую кличку взять не могу. Не имею права! Да! — капризно вздернул он голову и замер, проникаясь силой своих слов. — А пьяница… че ж пьяница… — Петруха помолчал. — Че бы вы делали без этих пьяниц?..

— Где они там живут? — не слушая его, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов.

— В бараке.

— В бараке?! Барак стоит?! Стоит барак?

— Стоит.

— Да это же! Это же… Вы понимаете, что это значит?.. — Воронцов даже затрясся и кинулся к окну — и что он там хотел увидеть, было непонятно. — А ты, — отскакивая от окна, накинулся

он на Павла, — ты, Павел Миронович, куда смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот, — брезгливо кивнул он на Петруху. — А ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать! Барак стоит! — простонал он. — А у меня завтра государственная комиссия. Утром нагрянет. Я им что — барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия — понимаешь ты, Павел Миронович?! А он съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с кого завтра спросят? — При собственном же вопросе «с кого завтра спросят?» Воронцов напрягся и решительно приказал: — Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать положение. К утру чтоб ни барака, ни людей. Не вздумай смыться, — предупредил он Петруху: — Поедешь. На з-задание поедешь. Вместе со мной. Ты, Павел Миронович, тоже собирайся. Хватит. Это дело государственное. Черт знает что творится!

Не хотелось Павлу ехать, устал он, да и ночь на носу, а утром рано на смену, значит, спать не придется совсем, но больше того не хотелось тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух и на глазах у них поджигать последнее, что осталось на Матёре, — барак, давший им последнее же пристанище. Но делать нечего — надо было

ехать. Павел представил, как станет Воронцов в темноте суетиться и покрикивать на старух, поторапливая и загоняя их на катер, как, не выбирая выражений, станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете. Представил мать и то, как она будет одергивать эту власть и как, с какой болью и требовательностью станет она смотреть на него, на Павла… представил потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывно головой… плачущего мальчонку… нахохлившегося и задиристого Богодула, за которым к тому же надо присматривать, чтобы он — чего доброго! — не кинулся на Воронцова… Представил Павел все это и предложил Воронцову:

— Может, тебе не ездить? Мы как-нибудь одни управимся.

— Не-ет, — вскинулся тот. — Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать, я должен быть уверен, что территория очищена, а на вас понадейся — вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее.

Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы и на дорогу до гаража, где решили

собраться, чтобы без задержки оттуда выехать, полчаса и выскочил.

— А что, — сказала Соня. — И правильно. Зачем человека под удар ставить? Он отвечает.

— Пушай отвечает, — взъярился Петруха. — Путай отвечает, никто ему не мешает отвечать. Да пушай человека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Изви-ни-подвинься. У меня гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!

Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого катеристом и называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью сбегал, прошло не полчаса — час. Выехали уже в темноте, при звездах, на маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору покатились быстро; торопливо набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны, лес; мельтешила на свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь; ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла молчали.

Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова намеками о сверхурочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал недостойным себя, и Петруха затих, отчего-то (Павел видел это в зеркале) страдая и морщась. Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо, будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало, пристально и сердито уставившись в лобовое стекло.

Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину двинулись сначала редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил:

— Туман?

— Туман, — обрадованно подтвердил Петруха. — Может, это… — Он не решался ясно высказать свое желание и только поддернул голову, закидывая ее назад. — Че по туману шариться?..

Воронцов и на этот раз не посчитал нужным

ответить.

Не разворачиваясь, Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоящий за вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо. Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со сна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля — все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью. Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стукоток его пробивался дальше чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу:

— Воротилу подпер. Даже не шевельнулся, спит без задних ног.

— Все ребячишься? — поморщился Павел.

— Пуш-шай. Сторож, дак сторожи, а не спи, как сурок. Проснется, а выдти — хрен ему. В окошко надо вылазить. Вылезет, а катер угнали. Вот запляшет Воротила.

Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли будкой.

Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а какой-то мелкой, как пыль, липкой серой испотью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда, но подниматься и идти в будку не хотелось, он устроился позади нее на приспособленном под сиденье чурбане и закурил, от прохлады и тревоги с особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым, но тревога не рассасывалась, напротив, все больше и больше обострялась и росла. Вот сейчас приедут они — и что будет? Замирало и отнекивалось от этого вопроса все внутри, и так не хотелось, хоть в воду бросайся, плыть. Сильней всего он жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант; он уже и забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как, как, в самом деле, угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться,

если там мать, если переезд ее нельзя перепоручать кому-то другому; мать никогда бы ему этого не простила.

Матёра лежала на нижний искосок верстах в двух от берега, от которого отчалили. Галкин взял сразу на Ангару и теперь вел катер вслепую, на ощупь: уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный, дремучий туман, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало, наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по течению и только затем повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на Матёру и уж по берегу обогнуть ее и спокойно подойти, куда нужно. Но сейчас говорить об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь полное лето, дорожка знакомая, доберется, поди, по памяти, одним чутьем. Он вел катер осторожно, на малых оборотах; до Павла донеслось, как Воронцов добивался, чтобы он прибавил газу, но Галкин не подчинился, и ход остался тем же; на полной скорости, чего доброго, недолго залететь на мель — потом кукуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то далеко-далеко внутри, представля-

лось даже, что под водой, зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.

Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло; вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но никакого берега, как ни всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи; Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца, пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора бы уже приехать, однако непохоже было, что они причаливали; Павел пошел в рубку, и по тому, с какой пристальностью, с каким беспокойством, вытягивая шею, всматривался в темь Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь в дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы… И

он, Павел, тоже как маленький: куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возражать. Теперь что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили Матёру выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так и получилось. А если так, надо, значит, брать вправо и попробовать встретить Матёру с другой стороны, от своей Ангары. Павел неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и повернул.

— Долго что-то, — почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. — Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?

— Найдем, — без уверенности ответил Галкин.

От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.

— Ого, туманчик-то! — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь. — Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали… Я говорил… — Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего

не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте — и Петруха его, конечно, не упустил. — В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. Дела-а-а!

Проплыли еще минут пятнадцать — вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться со своей Ангары в Матёру или Подмогу, — ничего: ни берега, ни знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше, чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами: не знаю.

— Глуши, — решившись, сказал он.

Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана, — самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз — там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода. Воронцов не выдержал:

— Долго мы еще тут будем возиться? Вы что — не понимаете или понимаете? Скоро утро, надо дело делать.

— Не кричи, — оборвал его Галкин. — Тут тебе

не собрание.

И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь. Однако «не кричи», которое обидело его, потому что он не привык к такому обращению к себе, подвинуло его к другому решению, он потребовал от Петрухи:

— Кричи.

— Че кричи? — не понял тот.

— Что хошь кричи. Хоть караул. Есть же тут где-то живые люди или что? Может, они услышат. Или вы все сговорились? Ну?!

Петруха не сразу, не вдруг, показав, что он подумал и согласился с Воронцовым, пошел в нос катера, и оттуда донеслось:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Где вы? Э-э-эй!

Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется: туман тут же, на месте, впитывал и топил голос, выбраться из его трясины ничто не могло.

Снова завели двигатель и поплыли, правя, казалось, к наконец-то точно угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему — и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана.

— Так нам и надо, — уже с последней, безучаст-

ной злостью, обращаясь к Воронцову, сказал Павел. — Какого дьявола было на ночь плыть — до утра бы не подождали, что ли?

— Если бы ты днем их привез, не поплыли бы, — оправдывался Воронцов.

Павел смирился: будь что будет. Он уже не подсказывал Галкину держать ни вправо, ни влево, тот правил куда-то, в какую-то пустоту, самостоятельно. Затих, смирившись, и Воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой красными, воспаленными за ночь глазами, но время от времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Петруха встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя, все то же:

— Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матёра-а!

Затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять засыпал.

В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана.

Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая, — они так и не укладывались, дремали сидя, каждая на своем месте, кто где

устроился с вечера и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо на-до-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.

Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Ты не ложилась, Дарья?

— Яс тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли?

Это ить я сидю-то.

— Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню.

— Куды летала — там люди есть, нет?

— Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала.

— А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?

— Я-то? Я Настасья.

— Это которая с Матёры?

— Она. А ты Дарья?

— Дарья.

— Это рядом-то со мной жила?

— Ну.

— Я ить тебя, девка, признала.

— Дак я тебя поперед признала.

— Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?

В два голоса ответили:

— Рехнулись.

И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание Бо-годула. В лад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи.

— Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-

нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.

Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании приносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то? Говори — че ты молчишь?

— Не видать, кур-ва! — ответил Богодул. — Туман.

Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять, только еще более потерянно:

— Это ты, Дарья?

— Однако что я. А Настасья где? Где ты, Настасья?

— Я здесь, здесь.

Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой — то был прощальный голос Хозяина. Тут же его точно смыло, и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто

споднизу, донесся слабый, едва угадывающийся шум мотора.

ПОЖАР



1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему во всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя показалась теперь бесконечной — дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное — заслуженное, но и не нужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто

край открылся, край — дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать — неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось: пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там — новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, — когда то ли обрывалось, то ли восставала душа, — прошел мимо разоренного палисадника перед избой и

прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», — подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на стол. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

— Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

— Ты слышишь, Иван?! Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

2

Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу — словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом — проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины — на продовольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту ив другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады.

В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные — в длинный конец и промышленные — в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, — русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и

сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два — одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое — если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад — дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу — чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром — мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся теси-

ны. Иван Петрович вспомнил про топор в руках — с топором к ним ему и следовало на подмогу — и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло в ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора — туда и побежал, уж и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был — одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек — тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

— Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол — с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая, колотушкой, как кувалдой, бил сподниз в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали

подвигаться быстрей — и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уж не парень давно — мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

— Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету — говорит. А он уж

тут стоял!

Афоня понужнул его:

— Ты лом искал — или что?!

— Нету. Ничего нету, — закричал парень. — Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад — на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:

— Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик — и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега

звучат человечьими словами — чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли… А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще… И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто

сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

4

Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в в ожидании — когда же последует команда двигаться дальше, и потому — не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это — все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня — все, что полагается для нормальной

жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков — в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутым чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта — и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали — и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказы не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем…

Одно слово: леспромхоз — промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать — не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали — до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда,

где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел — и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же… Свою древесину — со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили — быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время — травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряла леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю — семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили — и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме — детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно — не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым — да еще в зареве пожара?!

5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители — никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволочившегося на этой работенке, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая^сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис

Тимофеич Водников — мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!..

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль — наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа

после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

— Иван! Иван! — услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. — Иван, это че ж делается-то, а?! — голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой, веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. — Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» — но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услы-

шал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах, — всех разогрел огонь — Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

— Не буду! — запальчиво отвечала она. — Тушите. А открывать не буду.

— Сгори-и-ит! — мать-перемать!

— Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

— Сгори-ит! — надрывался начальник.

— Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке

бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

— Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

— Где Качаев? — в сторону Ивана Петровича закричал Водников. — Какого черта-дьявола?! — мать-перемать. — Это его склады. Где его носит?!

Качаев — начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

— Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что

вон там, справа видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…

И точно — со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем — ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко — будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры.

Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый — фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

— Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь — кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях, вспоминал, пытаясь в сравненье понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, — Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровне. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды — в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке «Т-34» судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровну: господи, да она же не стоит, она лежит! — до того

невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну — и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки — оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровна о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, — то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка

по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же… как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облег-

чением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Так он считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» — не ради сильного словца, а так оно и есть.

Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку и с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?!

Иван Петрович остался в Егоровне, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухомани, которая с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу белые пароходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровной, сманивая молодежь, богатый леспромхоз — и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и

знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, п тут бы потихоньку раскочегарилось, раз такое одно на всех нынче время… И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать… признаться, Иван Петрович, расставался с Егоровной тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими силенками Егоровне на ноги, похоже, никогда бы не подняться.

Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровна, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью — Сосновкой.

7

Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно, одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски; несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно, дымились и остальные стены; сквозь щели в потолке там, где он еще держался, огонь вымётывался полосами и с треском искрил. Все накалилось донельзя и все могло вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло жареным мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева.

Прежде Иван Петрович не бывал внутри и теперь остатками годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом и тоже на грязном полу в грубых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людь-

ми; в тяжелый кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагроможденных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было! — и куда все это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому — будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый божий день подворачивающие к ОРСу и извлекающие из конторы Качаева! Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре! И кивнул или подумал, что надо кивнуть, Иван Петрович: теперь, если сгорят эти, самые большие в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего.

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!

Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то подхватывал их и куда-то относил, Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он не узнавал; время от времени они натыкались друг на друга и отшатывались — жар становился все нестерпимей, огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево, глаза слезились, в горле першило, казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело, что-то по-снарядному взрывалось; оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха, закачалась, помахивая огнем, и оборвалась другим. Пора было отступать. Колбасу, кажется, выбросали, ящики с рыбой вытаскали, но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто, у него на животе, стекая всей массой под ноги; он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь — и вынес, пере-

дал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, — как бы они пригодились! Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло, но на полдороге кто-то наскочил на него и, то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что да, хватит.

Этот кто-то на воздухе оказался Сашкой Девятым. Сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова!

— Сгоришь, гражданин законник!.. Ой, сгоришь!.. И оттолкнул Ивана Петровича от себя.

8

Никто, похоже, больше не тушил — отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот; ярко озарен был весь двор, и Иван Петрович, как-то сразу увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засаднило еще сильней, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка, и вода кончилась, в шланговой кишке зафыркало вхолостую, зашипело и смолкло. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку, — пусто.

Нет, промтоварные склады было не отстоять: огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. Побрасывало и головешками. Находиться вблизи было опасно, кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек, под замахами рук те отскакивали и, обезумевшие, с вытаращенными глазами, как

намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур Алену — ее нигде не было. Ворох спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада, звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать, то ли… Или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно.

Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, отметил Иван Петрович, — склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня.

Да, плакали промтоварные склады, плакали японские кофточки и родные сковородки — разве столько в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле?! Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно бы спасти, будь машина и будь побольше

порядка. Но «пожарку», единственную на весь леспромхоз, еще года два назад разнесли на запчасти, она только числится на вооружении…

Иван Петрович все еще осматривался торопливо, все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо.

— Хампо-о… хампо-о! — с усилием тянул он из себя, показывая левой, здоровой рукой в глубину двора. Там, б левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно-приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеич, наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить… Тот, другой, замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил, всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого

брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

— Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! Ой, боль-но-о!

И вразвалочку зашагал туда, где горело.

— А ты где был? — не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. — Где вы все, черт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

— В баню ходил, — в тон ему ответил Иван Петрович. — Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!.. Смотрел бы хоть, на кого кидаться!..

Огромная, всходила над горой луна. Выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, вплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.

9

Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Ио не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не размениваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва оправлялись с налогами, когда у «нерадивых» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мух покосить на свою коровенку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровна ему

этого не простит.

А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать — и как все переменилось! Можно сказать, перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим неписаным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И Сосновке все едино, ей, быть может, даже спокойней и удобней, если Иван Петрович уедет и перестанет мутить воду. Или наоборот, да, конечно, наоборот: не станет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтоб она и поныне оставалась чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой. А для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить.

Нет, не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказалась: валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки, да и то как заставляют: вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб

чище жить, но можно и не думать о ней, жить и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по посадкам — пожурят, за план по вырубке — семь шкур сдерут. Вот и повелось и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесо-восполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разнарядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах.

Попервости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собирались теми же общинами, что прежде. Вдовых баб, стариков ставили на ноги по заведенному обычаю всем «колхозом»^ помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая. И раздавалось на закате солнышка на всю округу: «Дарья-а! Марья-а! Самовар поспел! Наталья-а! Ты к криволуцким не пойдешь?» — на ближнюю, значит, от горы улицу, которую заняла деревня Криволуцкая.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло

неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу — в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит — и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения.

Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровне, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года. Не своей смертью — это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот

те и мирное время! А ведь знал он обо всех этих случаях, переживал их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек, и ослабевает в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый, знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе, в одно число, поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставлял их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечьей своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию — дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть — учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем испол-

нении берет, той стороны прибавляется впятеро.

В первые годы и весь леспромхоз был — один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощней, все хитрей и сноровистей погнали технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники, шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно, как и где прожить, лишь бы быть ему прожиту. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился,

принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души — не распознать.

И вот по веснам, когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь не из-за неудобств, каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего задерживаться, понукаемые неясной и нестерпимой тревогой. А уезжают — горькая тоска в глазах: куда? зачем? Но уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлебывал ее ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: «Третий день дождь, что делать?» — или: «За ноябрем декабрь, не перепутай» — или: «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет допотопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и ку-дес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут.

Это, понятно, самое невинное, самое легкое из

того, что можно вспомнить. А можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов данной ему властью два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы, и Андрей, мужик в общем покладистый, после долгих уговариваний и угроз не вытерпел: вот вам, раз человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем: банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела. По неосторожности, по недосмотру, надо думать, самого хозяина: топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Сказано было — ждать до среды, пока вырешат, где взять деньги. А в среду сказали — до пятницы. В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, — и как без нуждЫ и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в леспромхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес, и как… Дошло до того, что сам Борис Тимофеевич на утро после получки вез втихаря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок, чтоб остановить готовую сорваться бригаду. А они научились принимать это как положенное,

как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом.

Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?

— У тебя пошто глаза-то этак повернуты? — гудел Борис Тимофеич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. — Пошто ты все одно по одному? Без плана, видишь, не живем…

Тут-то Иван Петрович и взрывался:

— План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!.. Лучше б мы другой план завели — не на одни только кубометры, а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и сколько осталось!.. План!.. Ты вспомни, как было… ну, пускай хоть пять лет назад…

— А что пять лет назад? — Борис Тимофеич прикидывался непонятливым. — Тогда не было ни само-валов, ни челюстных погрузчиков. «КРАЗа»

твоего не было, на который ты по тридцать кубов зараз грузишь.

— Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять — дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

— Нехитрое? — уж кто-кто, а о>н, съевший не одну собаку не одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, вызревал план — уж он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя, и он с тайной обидой говорил: — Тебя бы в мою шкуру.

— Не хочу. Мне и в своей тяжко.

Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона.

— Что ты, Иван Петрович, кипятишься? — с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержацком лице увещевал он. — Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу — и хватит. У кого гла-

за есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело — жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет.

— Да ведь опоздали, опоздали с примером-то! Поздно!

— Ничего не поздно.

Но Иван Петрович был устроен по-другому, под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу. И Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание — это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая — напрасно.

Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его «КРАЗе» соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинти-

ли: хорошо — нехорошо, хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо — нехорошо. Быть стало, и нехорошо — хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в двух словах.

10

Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешли во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно, помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. Здесь оказалось на удивление людно, здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром — с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается,

выбрали все, и Иван Петрович, повороченный этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь — зима или лето.

И выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь.

Пробивался с ревущим пыханьем огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков — будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались, и возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было: из бутылок выстреливало пробки. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятней всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров, им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое и незабористое.

Иван Петрович искал растительное масло в

бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог, под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно оборотилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахнуло кипяченой водкой; ничего не понимая, но и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку.

— Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна есть! — закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. — Вон там она, вон там!

Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только

ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем как электрические фонарики.

— Ходом! Ходом! — начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: — Ходом! Ходом!

— Ходом, ходом! — взмывала над запрокинутой головой бутылка. — Ходом! Ходом!

Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать, это было уже не дыхание и не воздух, который дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом:

— Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?

— Мы твоим Петькой закусили! — крикнули из цепи; и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова.

И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев: бочка была без пробки. Иван

Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря.

Ивана Петровича подхватили сбоку — Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял:

— Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно. Это все… — он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. — А без муки останемся… Без муки нельзя.

Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными, баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами, коробках. За третьим складом в крайней к забору и низкой, без подтоварника, постройке и держали муку.

Широкие, как ворота, двери были распахнуты.

Тени от Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком.

— Гори-и-им! — раздалось где-то в верхних улицах.

Иван Петрович испуганно вскинулся и стал

всматриваться на голос.

— Проснулся! — с веселой злостью отозвался Афоня. — Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься.

11

Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Когда вокруг — при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного и что для одного разумное расположение вещей, для другого — полный кавардак.

Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала, прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя.

И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает. Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции,

а как могущественный и безвольный вседержитель чудом доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти.

Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память, где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву; быть может, она способна спросить и самостоятельно — конечно, способна, но не успевает: тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть в вверенных тебе границах: чтобы ты с опережением вмешивался в готовый ли раздаться ропот или ослабевающее согласие, чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию.

Ты и они. Ты — властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. Одно целое и неразрывное — когда правят мир и согласие,

когда возникающие недоразумения, без которых никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразумение — до разума. И розное — когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса. Потому что в конце концов ты смертен, а они нет, они были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином, а ты был лишь временной их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли и откуда они искали согласия и соединения с миром. Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой, и не с тобой, а лишь с именем твоим, станут прощаться, возвращая тебя обратно.

Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович — будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выга-

дила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не оказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удоволенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него. Но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье — работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть.

И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы он ни делал — все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизывающим пустодольем обносило все тело.

Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. G чего-то ведь он должен был начаться, когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. А разве душа и совесть не родные сестры, разве не совесть питает душу и разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить правду, он говорил; когда требовалось дело — делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве ре важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда — это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет или принимает лишь наполовину но и с

самим собой? Почему, он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе (уж лучше вовсе, чем наполовину), но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно не прав? Они не правы, и он, говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, — и он не прав. В чем дело?

Или совесть и. правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой? А что, душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим и нашим? Цо если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит и правда не Правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособочены по ее милости? В чем найти ей поддержку? Ладно, можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит прямосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться, на своей стороне ничего не останется. Ну, а что такое своя сторона, не своя, кто проводил между ними границу, и почему так тянет человека за

эту границу, не есть ли в этом его общий удел — уйти со своей стороны на чужую?

И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не держащих ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, додолбившись до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного узика — отступал Иван Петрович: ничего не понять.

12

В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Средь муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент. И кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом и уложены они были аккуратно. Будто не свои же мужики таскали и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы.

По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару. Но Афоня Бронников придержал:

— Давай, Иван Петрович, за муку. Это все… — и он опять, как в том складу, отмахнулся.

Здесь хоть не припекало. Но торопиться следовало и здесь, до огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара. Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а

взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, чего ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и — как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афо1ня, не выдержав, могуче за-грохотал-захохотал:

— Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь — и пирог готовый.

Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

— Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. Где народ-то?!

— Начальник хотел собрать…

— Да он уж забыл, твой начальник!.. Его отхватили куда — и с концом! Он без головы сегодня.

Встав наизготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел.

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота — это торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, он держит оборону против охотников до всего этого разбро-

санного по снегу и грязи добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло: а где же топор? Где топор, который он прихватил из дому и которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что в последнем складу, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего, он оставил его где-то раньше. И топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук. Взял из дому вещь и погубил.

Он вспомнил опять об Алене, и тревожным был этот высверк о жене: не подлезла бы, дурная голова, под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас огромная даль. Рядом, а далеко. Потому что расстояние это меряется другими, незнаемыми шагами, которыми он еще не ходил.

До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня: в дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метали из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там неизвестно на чем! А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках

и бросках перехватывая на лету выбрасываемое, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис Тимофеич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалось ловкостью парня в белой заячьей шапке. И стоял и любовался Борис Тимофеич. Пламя опало, и начальник сорвался с места, сорвалось, заметалось опять и все остальное.

За короткий тот миг, когда разом высветлило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которой Афоня орудовал наверху и теперь как нарочно оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться, и все-таки Иван Петрович не мог сдержать удив-

ления. Помощником был не кто иной, как Сашка Девятый из архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай, лучше не выгадаешь: вышел помост — чтоб муку не на землю.

— Давай еще одну, Иван Петрович, — весело и арапистo скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени-отчеству, а не одно лишь «гражданин законник».

Они оторвали вторую связь и постелили ее рядом с первой. И только поднялись — с тяжким стоном осел, брызнув искрами, первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забивая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно. И он не вытерпел: надо было отыскать Алену.

Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком, и только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапяток плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали

руками, но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами — будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди — как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать, — во всем этом было что-то не настоящее, дурашливое, делающееся в азарте и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззатейно перемалывающий все, что подворачивалось на его пути.

Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестало, и снизу, на обвалившемся, опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, — и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати или некстати Алена вспомнила, как рассказывали, что под Усть-Илимом вниз по Ангаре поднимало со дна и носило по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем

продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло — как при электричестве. Ясно виделось теперь, что нет, ни одного склада не отбить.

Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди.

— Ой^ Иван, ты погляди! — встрепенулась она, не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. — Ты погляди! — она показала на извивающуюся справа в отдалении и всё равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев, Иван Петрович различал их по коротким и дерганым движениям.

— Что же это делается-то, Иван?! Что делается?! Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то такое!.. В голяшки наталкивают, за пазуху!.. А бутылки эти, бутылки!..

— Не вздумай ты что взять, — он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок.

Да, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет.

Хампо караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как…

— Да ты что, Иван! Ты что?! — без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. — Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много?

Дьявол с ними, пускай подавятся.

Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.

13

Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так: взяли в одно время отпуска и проехались по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то — две дочери и сын. Двигались от ближнего к дальнему: сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей, дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать — та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при этаком раскладе, но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали. До чего Иван Петрович, привыкший ко всякому, и не разморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих вызве-

ряющих граждан городских удобств.

А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно.

И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске — рослый, как все они нынче на сытых хлебах, сильно повзрослевший, в форме, выделяющей его мужскую стать и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иваныч, После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и, к покою Алены, работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете они прибыли на это место — красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее — сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой. Обо всем этом Борис и рассказывал и писал, но, пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потеребил яблоку с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские лица, не

испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в Ангаре, и порадовался за Борьку. Везде, сказывают, хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой, а жизнь здесь чувствовалась не надрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе, а на издавна заведенном междоусобном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, а казалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой.

Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не держит.

Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, прежнего рода? Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться, с

чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее.

С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было — или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лез на рожон, и сердце надрывал снова и снова — с тем же: не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой… гори оно все синим пламенем.

Все с тем же.

Однако в последнем году стало совсем невмочь — с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало — не счесть. Поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом — и восвояси, дальше пытать неприкаянную свою судьбу. И уж

на кладбище до десятка могил из них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовали разбить их — не получилось. Пытались отправить на лесосеку за Ангару — нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено вперепле т, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься — накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу.

И в поселке. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них — посторонись. А скажи — оборвут так, что недели не хватит, чтобы собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток

захватил власть — вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми — не совсем же пропащее это племя, по при развезени, когда ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке; в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы. А здесь за год съехало только двое. Один, кавказского вида, державший попервости верх в команде, был, по-видимому, окинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый; другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один, по фамилии Сомов, отбился от своих и ушел в семью к Наде Почиваловой, мужик у которой утонул.

В декабре выруливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-то из своих. Иван Петрович притормозил. Сашка сел, а тот, другой остался, хотя место в кабине

было. Красивый парень этот Сашка — высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась.

До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой:

— Ты вот что поимей, гражданин законник, герой борьбы и труда… Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем.

А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось — ни справа по Ангаре нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город. Неделю, пока летал да сидел он по непогодью в аэропортах, работали они за «того парня», скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофеич вернул ее, работать в конце концов кому-то надо было, а на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову, тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась, хотя, установленная и наклоненная внутрь, не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалили лес, суетились архаровцы — двое. Иван Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой.

Через несколько дней зачихал мотор, Иван Петрович в зажигание, в карбюратор — не то. Возился, возился, а оказалось, что набухали в топливный бак песку. Сменщик, Петя Разборов, отслуживший армию, задумчиво сказал, когда сливали бензин:

— Песок — это чепуха, это недолго. А вот если

сыпанут нам с тобой, Иван Петрович, соли… тогда беда. Тогда почешемся.

А Иван Петрович, деревня замшелая, не подозревал ни о песке, ни о соли. Соли не насыпали, а прокололи сразу два ската. Петя Разборов ушел от него на другой «КРАЗ».

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню, отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую> с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Петровича была не на архаровцев — что с них взять?! — а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не понимает? И если

он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне?

Палисадник перед избой развороти́ли совсем недавно, уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорей всего, подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если поспрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала, а уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем в злость только на самого себя.

Спасение было одно: уехать.

14

С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены — какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличниками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая, но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь.

И вот Алена его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и Алену для него. Проживши тридцать да еще с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти

другого, которая не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все это должно бы относиться ко всем, десятки лет ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим берегам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось быстрей, без артподготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точней.

Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которое можно определить так: женская сыта. Это значит, что Алены было ровно столько, сколько нужно, — не больше и не меньше. Быть может, чуть больше, но маленький перебор всегда исправим. Находился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алену, продолжавшую свою неустанную службу. Она, когда требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине

он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, но еще и раздался в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня или Степа, скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахае с чужого плеча.

Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой, она не передвигалась, а взмывала и летала. И так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спросила-сказала она, что собирается пойти в библиотекари, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать? В окошки, как бабочка, биться?», не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или

подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил! — до сотни! — сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала.

Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила.

Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая и утолокшаяся, чтоб скорей увидать мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое — и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем, он молчит, она говорит за него и за себя, и он не знает, где чьи слова, а знает только, что наговорились они с пользой и всласть.

Жена — это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня

в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего, еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. Но у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя, и, опростанная, полегчавшая и с лица и с тела опавшая, столь счастливо и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы запастись за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться, будто это не так.

Каждый, поди, мужик держит в своей памяти какой-то один случай, способный сказать об его жене все давным-давно, еще жили в Егоровне, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, «ЗИС-150». Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал, — мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его

и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

— Это не я и была, — простодушно решила она. — Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели.

Когда пришел Иван Петрович и сказал, что все, конец, решил он подавать заявление, она согласилась:

— Ну так че, Иван… конечно, к Борьке охота…

Он научился слышать и то, что она недоговаривала. К Борьке охота, но не так бы, не так…

15

Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, спускался к дороге. Дело знакомое, за жизнь свою потаскал, и, если бы не огонь, не беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подступят картины хлебных работ.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот браться и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек на горбке. Однако,

не подымающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился — осталось их четверо: он да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.

— Афоня! — крикнул Иван Петрович. — Че ж это такое опять? Где они?

— Там интереснее, Иван Петрович, — ответил тот, пробегая. — Интереснее там, понимаешь?

На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядка на ходу, все чаще заплетаются ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой.

Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появил-

ся, приведя с собой нескольких и один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовывать цепочку — чтоб не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных — Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков. Мелькнул, посветив раза три удалым лицом, Сашка Девятый и исчез.

Где больше — на вынутом, вынесенном на дорогу, или в складе — не разобрать.

Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверно: надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складу нажимал, похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой приваливалась крупа. В помощь Теплякову, Иван Петрович решил брать поочередно: раз мука, раз крупа. Внутри потускнело и помертвело, густо ходила мучная пыль, всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали, напористым горяче-дуем.

Под мешками ничего не видел и не слышал

Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось — пожар изнутри и пожар настоящий, те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался, взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукий Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани или ему померещилось.

И еще померещилось ему: ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось, подбирала выбросанные со двора бутылки — и уж, конечно,

не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось.

Из-за угла от Ангары вымахнул огонь — и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка: теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей, времени на полный перенос не осталось.

На другом конце огня, где промтоварные склады и где пылало сплошной мощью, как жаром качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там — чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин — поверится, что почти победили, что чуть-чуть и победили бы полностью.

Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособоко вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть, казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят.

Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено.

Дядя Миша Хампо, этот дух егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую руку, которая едва годилась для нехитрого под-

тыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо-о! Хампо-о-о!» — долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему и подставить следующее слово, и тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. «Хампо-о!» — начинал он, переступая через порог, и хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали: «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине? Очередь? И обед уж сварил? Ну, когда так, садись чаевничать с нами».

Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо — чтобы не понимать.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался

еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной левой рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше, он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару.

Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а вероятней всего, об Егоровне, ушедшей под воду, показывал в ее сторону рукой, давился «хампо», но тут уж люди, кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил.

А ведь что-то тужился он сказать важное.

Хампо был прирожденный сторож, сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет — делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился, такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав: чужого не трожь. Все неудобство мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал: трогают. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля, ночи проводил на зернотоках, днем в свободную минуту вышаги-

вал досматривать в коровнике и конюховке. И за зоркое свое око плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта: за всем присматривал и во все, требующее охраны, встревал. К этому привыкли, и никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» — спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует. Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!» — на куски рвало его душу, крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать.

Со временем воровство утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось

и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного, лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь, сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка.

Но он и вор-то ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало… Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошенья птицу, приходился родным братом учительнице, у которой справляли праздник, и чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение и которые, угостившись, работниками быть отказались.

Не воры — пакостники.

16

Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, — что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для желанной подвижки?

Начать с достатка… Достаток — да, он надобен, без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но достаток — это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, — не только жрать, а жизнь — не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из

себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки.

Ну ладно, о достатке потом.

Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, неработающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко.

Работа — это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других, а она долго-долго еще будет напоминать о тебе живущим вслед за тобой. Так говорят. Так оно и есть, тем более, если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки — с полезным и бесполезным течениями, и какое из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных, надчеловеческих понятиях, а что должен испытывать он, чуть свет выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привезти за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык: километры, кубометры, древесина — вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать «КРАЗ» и

выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит, что это километры, кубометры и рубли, он возносится над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно двигается попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону; там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов, душа его выструнивается и начинает раскрыто и вольно звучать.

Да, он работник, он за собой это знает, и с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежней всего.

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая — весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В младых летах Ивану Петровичу казалось, что

это недостроенность, незаконченность в долгой и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двоетрое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через чер-

ту сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

Что прежде творилось по неразумию, сделалось искусом просвещенного ума. От чего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека то именно, что уходили пешком, а

подъехали на моторе.

Так вот, о достатке. Есть достаток, и даже не маленький, а все не живется человеку с уверенностью ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне, все словно бы бьет его озноб, и озирается он беспокойно по сторонам. На весь, стало быть, достаток чего-то недостает. Себя, что ли, недостает — каким мог он быть при лучшем исходе, и эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонения.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперед всего — дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома — в избе, на квартире, откуда с однойстороны уходишь на работу, и с другой — в себя. И дома — на родной земле.

И нигде не получалось у него быть дома. На земле — что не затоплено, то опорожнено лесозаготовками, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни

там, не будет его, как ни старайся, и посредине.

— Уезжаешь, значит? — спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление.

— Уезжаю.

— И что там, куда едешь?

— Хлебушко. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровне было?

— А заработки как?

— Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо.

Не то спрашивал Афоня и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал Афоня:

— Ты уедешь, я уеду — кто останется?

— Кто-нибудь останется.

— Кто? Кто — кто-нибудь, Иван Петрович? — на последнем голосовом дожиме не сказал — простонал Афоня. — Эх!.. Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате — берите, кому не лень!

— Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

— А Егоровна?

— Что Егоровна?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда — и будто

не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь — и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

— Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровна?

— Не знаю. Прикину — найду.

— А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала.

— Как же ты поставишь? Кто тебе позволит?

— А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слыхал, чтоб такой запрет был. Никогда не слыхал. Если на земле можно, почему на воде нельзя?

Иван Петрович опомнился:

— Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них легче?

— Эх, Иван Петрович, — как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рассмеялся Афоня. — Прикинь-ка: столько игрушек кругом… может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулок — он свернул.

17

Так оно и водится: пока без огня, тужились они с Афоней вдвоем, а налетел огонь — сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складу, откуда выплескивало беловатой накипью — летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром. И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного — парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, — Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу, где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого, архаровца в подгоревшей телогрейке, кто-то выпихнул изнутри как мешок, и, пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые, неразношенные валенки.

Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же, под огнем, все и останется. Иван Петрович взялся оттаски-

вать к забору. Он уже и не взваливал на плечи, а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И по тому, как подхватывал, косолапо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий.

Здоровый мужик, однорукий Савелий, неизработанный и цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, несуетно и споро, и сильная его рука, как клешня, не срывалась, когда ухватывал он мешок.

Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, значит, не горит человек, — и не оборачивался Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты.

Зачем-то ему понадобилось: что сейчас — ночь или утро? Понадобилось больше желания упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет, и там, показалось ему, темь как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он запнулся и едва не упал.

И странно: то вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом

метаться люди. И тогда оборванно отдавался в нем каждый крик — будто в него он и метил и в нем оседал, и тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь уже полным охватом складами, раззявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри.

В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как под-веси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину растаскали, там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом как комаров.

Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск, могучий треск — словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо.

И все кричали и кричали во дворе.

Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтоб, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеич сорванным голосом выкашливал:

— Какая комиссия?! Очумела ты?! Какая счас

комиссия! Ты погляди!

— Нет, это ты погляди! — Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. — Тут че осталось, ты погляди! Ящики считанные были, — она показывала на штабеля из ящиков с водкой. — Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано — где они, шестьдесят восемь?!

— Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали! Пускай горят.

— Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят!

И как плеснуло на нее, что еще сидит у нее на шее, да как сдавило каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было, а топтался рядом дядя Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу.

— Ты смотри, дядя Миша, смотри, — в десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать, ей помогал дядя Миша, разваленное и разбросанное к одному табору.

В мучном складу стали покрикивать громче и дурней — без крику, без того, чтобы не понужнуть и не рвануть себя, не получалось. И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться му-

жики — чтоб хватануть воздуха. Иван Петрович по-прежнему стоял на перевале. Ни рук и ни ног он не чуял под собой, и в загонистом темпе потерялось и не взбрыкивало больше сердце. Одно лишь помнил: взвалить, удержать и свалить, и три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки.

Выпуская из рук мешок, в общем движущемся беспорядке он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок, и уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться.

— Что ж ты делаешь? — встретил его Иван Петрович. — Оголодал?

— А ты видел?

— Видел.

— Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. Ты теперь туда смотри, куда написал. Понял?

И опустил свою единственную, тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу.

Почему это, когда хотят внушить что-то недоб-

рое, хлопают по плечу.

Успели. В последнем складу подобрали все и вывалились наружу — орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола: в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в боки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завыло и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение.

Кто-то окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя:

«Вра-гу не сда-ет-ся наш гор-дый «Варяг»!

По-ща-ды ник-то не же-ла-а-ет!»

Дядя Миша Хампо, на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшийся, все же протер для верности глаза: двое играли в мяч. Разбитый и разлохмаченный, похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому, отлетал от другого и так, под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого

поблизости не случилось. Мяч тем временем плюхнулся на забор, из него что-то вывалилось. Не раздумывая больше, Хампо кинулся к игрокам. Один из них подхватил мяч руками, перекинул в улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним. И когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку, оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мячом действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками. А тот, кто подымал его, был Соня.

Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-поросячьи, норовя подпрыгами поддеть дядю Мишу на калган, И снова и снова ударили его чем-то тяжелым — не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били…

Так потом и увидел их Иван Петрович: лежат на истоптанном снегу в обнимку — маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша

Хампо. А в пяти шагах валяется колотушка.

18

Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь, встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки, расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара.

Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры не разлученные дядя Мита Хампо и Соня. И там и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры.

Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию — и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца… Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым рабочим

часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды, тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали.

Ждали: что будет дальше?

Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала в кровать.

Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде, потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, он прихлебывал из огромной металлической кружки чай.

Спросил Иван Петрович:

— Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

— Жить будем, — морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души, сказал Афоня. — Тяжелое это дело, Иван Петро-

вич, — жить на свете, а все равно… все равно надо жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:

— А ты что решил делать?

— Будем жить, — только и переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.

19

Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда опустить, но ей, земле, решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого выйдет.

Тихо-тихо кругом — как в отстое, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка, в обеднявшем приглушенном свету виделось далеко и чисто. Отяжелевшее, несвежей белизны небо, такое же, как подтаявшее под ним поле, длинным уклоном уходило за Ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и

там неплотно.

Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю — и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живу и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко — и опять, как и каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек.

Никакая земля не бывает безродной.

Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка, и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая завороженность или начавшееся затвердение — как знать! — но легко, освобожденно и ровно шагалось ему, будто случайно отыскал он и шаг свой и вздох, будто

вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали — далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

РАССКАЗЫ



БАЙКАЛ, БАЙКАЛ…

Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки «неистовому» протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря-озера на западный, и он пишет о Байкале: «…Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки, — двадцеть тысящ верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — все богоделанно. Лук на них ростет и чеснок, — больши романовского луковицы, и сладок зело. Там же ростут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красный — и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыбы в нем — осетры и таймени, стерледи, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем, во окиане-море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо, — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для человеков,

чтоб, успокоясь, хвалу богу воздавал».

«Святое море», «святое озеро», «святая вода» — так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, а у других — эстетические и научные. Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное».

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним: его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что

он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой. Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишить его таинственности и загадочности, но тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин описанных и открытых. И он стоит в этом ряду… потому лишь, что сам-то он, живой, величественный и нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторимый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь.

Как и с чем действительно можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас люба и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины, они влияют на

наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы — часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования.

И все-таки у Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделывает с особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое

ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний.

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одному из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август — лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает внове выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже и впрок запасся Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, красная и черная, то жимолость… А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывше тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорогу то

пахнет нагретым и горчащим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, дотоле им не только не виданной, но даже и не представляемой. Повторяю, что она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом (так и хочется сказать: с хрустальной торжественной музыкой) сбегающие в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности; прибавьте сюда еще частые тоннели, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь ненамного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно с только что окончившей игру вольностью, высятся скалы.

Все, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он, не в состоянии уже больше удивляться и

восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удается видеть и за сорок метров — и, кажется, прибавил, но он и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести-триста метров в глубину на двухкопеечной монете читаем в Байкале год чеканки, — больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой.

Помню, его доконала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и, когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились — это ладно, это бывало, — писал он. — Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...»

Я понимаю его...

А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он не знает, как в такой же точно день, когда светит солнце и недвижен почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего — словно взбученный изнутри. Смотришь и не веришь своим глазам: тишь, безветрие и грохот воды — это за многие и многие километры дошел сюда из района шторма вал.

Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются

ветры, которые мгновенно, с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до четырех и шести метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь и ощущение времени, и меру дел человеческих, — так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту.

Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чивыркуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море.

Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить, а между тем под ногами может быть и метр и больше толщины; не слы-

шал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь, под весну этот лед широкими бездонными трещинами, через которые ни пройти ни проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ними великолепные громады голубых торосов.

Он не попадал в волшебную сказку, то мчится на-встречу тебе с распущенным белоснежным полотнищем парусник; то повиснет в воздухе, плавно снижаясь и как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок; то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди… Это миражи на Байкале, обычное здесь явление, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий.

Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал, не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно — на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала — это нечто особенное, существующее,

заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности или неспособности принять в себя духовное зерно.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами — в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале, словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так

скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удесятеренной надеждой, там, впереди, обетованная жизнь…



А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л. Н. Толстой записал:

«Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благодати, старая наша беда.

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и нощно глядит в наши глаза душами

умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас. И разве все мы не слышим этот зов? Когда-то эвенк на берегу Байкала, перед тем как срубить для надобности березку, долго каялся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не оттого ли и в состоянии мы удержать занесенную уже не под березкой, как двести и триста лет назад, а над самим батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему сторицей вложенное в нас природой, в том числе и им?! За добро добром, за милость милостью — по извечному кругу нравственного бытия…

Байкал создан, как венец и тайна природы, не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него вволю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом. Он никогда не отказывался помогать человеку, но только в той мере, чтобы вода оставалась чистой, красота непогубленной, воздух незасоренным, а жизнь в нем и вокруг него — неиспорченной.

Это прежде всего необходимо нам.

Байкал, Байкал…

Он давно уже стал символом наших отношений

с природой, и оттого, быть или не быть в чистоте и сохранности Байкалу, зависит ныне слишком многое.

Это явилось бы не еще одним пройденным и покоренным рубежом, а рубежом последним: за Байкалом нет ничего, что могло бы неразумно рьяного в своей преобразовательной деятельности человека остановить.

Трудно удержаться, чтобы не повторить вслед за моим товарищем: как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и неоткрытый, непокоренный — как хорошо, что он у нас есть!

ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. «Самостоятельность» — самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок — вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке… Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов, мне за себя в жизни ответ дер» жать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить грани-

цы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть.

И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться — и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до

тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие», — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня — и вдруг

бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее — геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах

и в своем обычном порядке… кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многое для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками — самой неприятной работы. Это было и не желание и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом

своим способом — он читал перед сном «Вечера на хуторе близ Диканьки». Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно было принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголосками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застойные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее; и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может

дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйственностью и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрянула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрьшной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуясненный, но значительный смысл.

В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Саниного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберезовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

— Сушишь?

— Сушу.

— Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо: Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответствовал:

— Ты корову теткой не зовешь?

— Зачем?

— То-то и оно… зачем?.. Митяй — кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там… Не подавлюсь.

— А вообще-то как тебя зовут? — Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и «ты» у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаши, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «заносит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не

от обезьяны выродился, а от дьявола, — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. — Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого».

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы… У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно, — до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-что, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить,

чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка».

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей — только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его «заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних похождений Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и старается отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал

горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвенники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: «Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился». Вот это «из круга выбился» почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом — и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались

в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

— Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

— Не дойдешь — там останешься, — сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман. — Только это… с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь.

Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за последнего дома, увидел он утром на площадке, где притор-

маживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной — много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взре-вывали оглушительно моторы, и лодки с пригнувшимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. Те, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и порозовевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользо-

вавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за спины, за спины…

— Куда?! — весело закричал ему вслед Митяй. — Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати — шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги — и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще, Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вы-

нуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:

— А горбовик отцов где?

— Он большой сильно.

— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

— Ну орда, ну орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. — Держись, тайга!

— Что-то уж сильно много, — озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел. — Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пером попрет. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки; маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности

путников.

Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в поселке перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой — по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное — по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы

доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то «путешествие» кажется столь же устаревшим, как, например, «фаэтон») эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне — и куда все это подевалось?!

«Как в другой жизни было», — говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водо-

хранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала — на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала оставалась таким образом не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и

по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых орехов подчистую.

Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин гор-бовик — из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности. Он бы и взял его, да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лямки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо — будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.

Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят ки-

лометров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудинах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то

там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: «смертный ужас рождения». «Как, как?» — переспросила мама. Папа повторил. «Что за глупость?» — растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: «Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью — бездна». Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: «Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся… Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были». Мама испугалась: «Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит». Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: «И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился».

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубинное чутье и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня, и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, му-

жик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по манерам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

— А я тебя гляжу, гляжу… Уж думал, остался… Или проспал.

— Под самый конец залез. Едва протолкался, — ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубахе сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

— Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? — не глядя на Саню, спросил он.

— С нами.

— Ты не говорил.

— Ну и что? Когда бы я сказал?

— Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, бьхть может, вчера, посыпались вниз с задранными горбовиками, как

сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги, а ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

— Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен.

— Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле в раскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встречь ее по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то пере-

шагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой маломальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они и шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаясь вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию; то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра — тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли неподвижно и прямо, охваченные истомой, и

только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил неодобрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это «скоро» началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то

положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку — кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и стала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо, — казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его, они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устали.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью… Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись,

стоял Митяй и ожидающе улыбался.

— Ты что это?.. Ты куда нас? — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

— Перекур! — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать. — Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг… Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с не облетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями, — больше всего это были ели и кедры, — обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся

вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.

— Смерч, — сказал Митяй.

— Какой смерч?

— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли — все нормально. А осенью я по орех… Может, главно, первый и увидел. Ты пойди погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы деревья.

— Этак и убить могло, — угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся, Сане послышалось — не без злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, — не остался в долгу дядя Володя.

— А новичков-то и хлещет. Их-то, главно, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

— Из-за кого? — вскинулся дядя Володя. — Что ты мелешь?!

— Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Иванович, что Леха, что ты… Будто свой огород… захочу — пущу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.

— Ты меня, с ними не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. Леха — аккуратный мужик, он порядок любит. А каждого в тайгу пускать — это на разор только, ее и так разорили.

— Я рядом с тобой живу — почему я каждый?

— Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя, — вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде

Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их на сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаждая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами — куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло — ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и соступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно спорив-

ший в этот час с белесой пустотой неба, — за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

— Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтеньем усаживаясь на камень, не отозвался.

— Вот это да-а! — ахнул Саня, подошедший последним.

— От и до, Санек, а?! — крикнул ему Митяй. — Запоминай — во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

— Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не узнал?

«Не может быть, — не однажды размышлял Саня, — чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать? Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь — это воспоминание вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира — и вдруг, как перекати-поле, на открытую дорогу — куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур

нелепо и глупо».

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильней обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия, жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину

сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок — порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке — потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлежку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где

пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекать какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую, меру участия и правильного расположения — все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя, он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

— Кончай ночевать, мужики, — негромко ска-

зал он, позевывая и внимательно всматриваясь в небо. — Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

— Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты, гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. — А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая — хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санек, почали, — возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая

и падая, перешли в частый и мягкий бормоток.

Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством — смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то про-

долговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, — наговаривал он, — что я возьму тебя… я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь — так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, — Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, — и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет… — И грубым, бестактным казалось называть себя — то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал. — …и маленькая девочка по имени Катя… она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы придем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей… не обижайся, пожалуйста».

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой покруткой, чтобы не оборвать

плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обнимая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то — посторонний звук или неосторожное движение — приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая

ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неоговоренную меру.

Нет, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем

наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней, и сильней тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо, Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их

рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечек, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню — настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться… Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя — почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение

он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, — кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильней — и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточна ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас… И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и

подался вослед этому возвечен-ному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся — дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

— Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

— Кто ходит… Медведь, наверно, ходит, — недовольно отвечал Митяй. — Кому тут еще ходить?!

— Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня

уже спал: слова о медведе мало встревожили его — или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

— Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главно, медведи без спросу приперлись, на твою территорию, — тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить.

Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце — не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звездчато взблескивали

там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло — и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи — нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед — перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володей, над его ночным бденьем. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг — и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли до-

ждя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся — пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, — ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непростую ее силу, только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь — руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба — стоило Сане на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее — по-прежнему рясную, крупную,

отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой… Ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул — так хорошо было, так светло и покойно и в себе и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал — этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшуюся в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему… он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, спустившись к

речке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире к стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого, мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то — на земле или в небе — происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь

чувствовать, угадывать, внимать — и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. «Что-то», «какой-то», «где-то», «когда-то» — как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим «что-то» и «какой-то», ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же недостало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадоч-

ную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом — не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавного среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой, усыпленной, завороженной и отрывистой мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я… в одно время и здесь…»

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный «трон», откуда волнами уплывали в дали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синеющее

уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье — от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно — он это видел!

В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбое между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем — то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная

скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна, свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины — без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться это можно было бы сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал: привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог и

лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей — пластом, мало что и видя и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

— Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило, как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

— Теперь твоя очередь.

— Вон парень сходит, — прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер

лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое жизнью: так же пошумливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось — по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

— Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? — вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

— Не знаю, — пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых

ягоду. — Сварю, наверно, половину… половину истолку.

— Нельзя ее варить, — решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: — И есть ее нельзя.

— Почему?

— Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел — ведро действительно оцинкованное.

— Ты, гад!.. — оборачиваясь к дяде Володе, начал он. — Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?.. — Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил. — Ведь ты же видал, ты знал, ты, главно, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести — ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

— Только тронь! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

— Да видал! Видал! — завопил он. — Знал! Но у меня, главно, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

— Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попалось ведро с открытой ягодой, — решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

— Митяй, ты что?! — вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня. — Зачем ты, Митяй?! Зачем?!

— Нельзя, Саня, — торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой. — Нельзя. Она, главно, за ночь сок дала… сам отравишься и других… никак нельзя в оцинкованное… Ну, идиот я, ну, идиот. От и до. Ходи с таким идиотом…

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.

— Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся, — неожиданно спокойно сказал Митяй. — Такое гадство в тайгу нести… мало тебе поселка?!

— Сядешь, — так же спокойно ответил дядя Володя. — Сидел и еще сядешь.

— А я об тебя руки марать не буду, — уверенно и как дело решенное заявил Митяй. — На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят… ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда.

…Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по заду-

манному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной, благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной, возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный

шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на

друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность… Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц

собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда

я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает — только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о послед-

них делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетела в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари…

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя, она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла.

Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и, когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала

она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего бы между нами не случилось.

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострашай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный,

до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как

зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно,

что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказыва-

лась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В распоповиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и

приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три

несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот. как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с бе-

рега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня

нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим

подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялась в случившейся неполноте. Наутро после поездки в город я поднялся поздно.

Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза… Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой,

почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сра-

зу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой^ почти не случается, Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растеклось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой,

более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя… Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разго-

рающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густокоричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка… Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то… Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и бес-

предметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола…

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная, во что, то

вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полноводными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то

посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало… и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий… Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде, или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел

дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я, и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не

обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем, в движении, — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем?

Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все

и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял

способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению

не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной

позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как мелькает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые как

снег капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежите высокой температурой.

ПРОДЛЕННЫЙ СВЕТ

Дни уносятся неведомо куда, вечные вопросы человека, и нет им v конца. И неизвестно, достигают ли они своей цели, да и знают ли ее.

«Интересно, куда денется ее жизнь?» — думала старуха Анна из «Последнего срока». — «Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? Зачем? Только для себя или для какой-то пользы еще? Кому, для какой забавы, для какого интереса она понадобилась?»

Старая Дарья из «Прощания с Матёрой» спрашивала себя и не могла ответить: «кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение?»

Бедная Настена («Живи и помни»), решаясь на страшный шаг, тоже спрашивала себя, нас ли, целый свет? — и тоже не находила ответа: «Где ты был, человек, какими игрушками играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем, не задумавшись, отсек себе крылья,

как раз, когда они больше всего нужны, когда надо не ползком, а лётом убегать от беды?»

Молодой писатель из очерка «Вниз и вверх по течению», наслаждаясь красотой «позднего летнего вечера у реки», сокрушался и недоумевал: «Почему так много времени проводим мы в хлопотах о хлебе едином, и так редко поднимаем глаза вокруг себя, и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?»

Он спрашивал и «не мог ничего ответить».

«Вечные» вопросы — вечная отвлеченность; они будто взмывают над нами, а мы остаемся внизу: на наших подошвах — налипшая глина наших дней, в наших руках и умах — тяжесть повседневных забот и труда.

Когда «вечных» вопросов чересчур много, веет духом риторики и «всемирной» печали, но и без тех вопросов — люди ли мы?

Герои Валентина Распутина спрашивают, допытываются, томятся, парят мыслью в поднебесье, но не от скуки, не для услады праздного ума; они вынуждены спрашивать, — складно,

плохо ли, наивно, по-всякому, — самой жизнью своей вынуждены, всей судьбой и всей своей человеческой сутью, ищущей не столько полного, сколько главного знания о человеке, его предназначении и участии, о его правах и пределах прав, о его ответственности перед чем-то, что выше его, если это высшее, превосходящее его личный, эгоистический интерес, существует. Почему-то героям Распутина кажется, что это знание не может быть равнодушным к человеку или направленным против него. Когда ответов нет, это еще не так страшно; можно подождать, вдруг они когда-нибудь донесутся; а может быть, просто нужно лучше или не так спрашивать? Старые люди у Распутина верят, что жили — работали — радовались — страдали не напрасно, они хотят услышать, что смысл был. а оправдываться им — не в чем.

Так чего же они ищут? Утешения или всей правды?

Нигде, никогда Распутин не опровергнет надежды: то, к чему рожден, призван человек, не может быть хомутом, вечным толканием тачки, чьей-то забавой, манипуляцией, игрой; жизнь «задумана» хорошо, и это прекрасно чувствуют любимые герои писателя. Не знают, не убеждены,

а именно чувствуют — старуха ли Анна, вспоминая себя в детстве, или мальчик Саня из рассказа «Век живи — век люби». Ну, а потом? Разве не та же Анна — о жизни на пределе сил, про «скручивалась в веревку»? Про «любой груз»? Про то, как проводила на войну мужа с сыновьями, а вернулись — бумажные листки?..

Если жизнь «задумана» хорошо, то отчего она была такой тяжелой? В чем и кому тут «польза»?

Наверное, никакая «вечность» на вопросы такого рода не ответит, если не ответим мы сами.

Распутин знает это; прежде, чем нашими делами займется «вечность», он попытается сказать и про «пользу», и про «высший смысл».

Вся жизнь старухи Анны — святая материнская самоотверженность, полная трата всех отпущенных сил — не во имя ли «высшего»? — ради детей своих, семьи, родного дома, земли, где родилась и прожила жизнь, ради чего-то еще, трудно выразимого, но несомненного и дорогого… Может быть, ради народа, родины, человечества? Но распутинским старухам таких слов, пожалуй, не выговорить; в них есть какая-то непомерность, через те слова можно взять на себя лишку, что-то самонадеянно прибавить к своему обыкновенному, простому смыслу.

Ощущение «высшего», как нравственного закона, должного соединить всех, витает в «утопических» снах Кузьмы («Деньги для Марии»). Там, в трогательных ночных видениях, Марию спасают от беды всем сказочно-дружным сельским «миром», и только там деньги теряют свою власть над всеми душами, отступая перед глубинным человеческим родством и союзом.

И если нелегко старухе Анне понять, какой «вышней правдой» живы ее дети, то это потому, что для них такой правды словно бы вовсе нет, а есть только эта минута, ее удовольствия и ее неприятности, ее беглый смысл или ее пустота, и нечем Михаилу с Ильей, сыновьям Анны, загородиться от той пустоты — только ящиком водки…

Писатель не позволит ни резвому топоту суеты, ни звону бутылок заглушить живые голоса старой Анны или Дарьи Пинигиной. Кому — старческая блажь, брошенные на ветер жалобные старушечьи слова, а для него — еще одна возможность приблизиться к правде и смыслу всего.

Когда в «вечных» вопросах «вечное» слишком намеренно и «красуется», то они малопривлекательны, чаще всего — банальны и пусты. Они насущны и необходимы, когда время через своего художника задает их по-своему на основе нового

опыта человечества, народа и отдельного человека, и, если мы слышим, как взволнован этот спрашивающий голос, мы понимаем, как стар вопрос в своей сути, — не к Иову ли из земли Уц восходит? — и как бесконечно ново это волнение. И если слышим боль, сомнение, надежду, то догадываемся об источниках боли, сомнения и надежды.

Чтобы художник мог задавать свои вопросы, старые или новые, он, наверное, должен знать о современном человеке, его состоянии и судьбе, что-то главное и решающее. То есть должен знать многое, но это-то — непременно. Можно рассказать всего-навсего о том, как мелкий петербургский чиновник сшил себе шинель, был ограблен и, потрясенный, никем не защищенный, не понятый в своем несчастье, умер, но поколение за поколением русских людей будут слышать, как в его «проникающих» словах: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» звенят другие: «Я брат твой», и эта неисповедимым путем источаемая боль окажется для многих душ стойкой прививкой против «бесчеловечья» и «свирепой грубости»… А можно, — тому не счесть примеров, — громоздить значительное и сверхзначительное, демонстрировать свои познания

в том и в этом, живописать «тайны» любви и производства, ошеломлять масштабностью, современностью, откровенностью, обласкать «маленького человека», похлопать по плечу «супермена», можно, в конце концов, «объять необъятное» — и при этом, что-то непоправимо упустить… Что-то из того, что издавна называют «действительными потребностями» жизни, ее действительными настроениями, ее живыми, самостоятельными, непредусмотренными голосами. Или это бывает связано с какой-то пониженной художественной чувствительностью и отзывчивостью? Или с отзывчивостью, да не на то? С тем, что представления о могуществе своей творческой воли преувеличены? С тем, что сосредоточенность на себе больше, чем на ***других***[1]? И до того порою велика, что происходящее с другими как бы не вполне в счет. Если же — в счет, то в общей и приблизительной форме, когда за «главное», «решающее» или «насущное» может быть выдано все, что угодно и что выгодно, а шукшинское или, скажем, абрамовское, — не говорю «гоголевское», «толстовское», — проникнове-

---

[1] Примечания: 1

Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами здесь и далее заменено ***жирным курсивом***. — *Примечание оцифровщика.*

ние в человека и российскую жизнь становится невозможным.

Повести Распутина — это попытка достать до главного и решающего в самочувствии и умонастроении современного человека. Должно же быть что-то, что существует поверх всевозможных различий и важно для всех? Индивидуальное, единичное, казалось бы, случайное обнаруживает у Распутина свою связанность с «целым», с «народным», с «закономерным», хотя место для вопроса, а какова «закономерность», оставлено. Распутиным движет желание сказать о необходимом, назревшем, чтобы оно вошло в сознание общества, — туманом ли над Матёрой или гибелью Настены, — и, может быть, что-то сместило и обострило в нем, как это делала старая русская литература и как это умеют делать сегодня книги Ф. Абрамова, В. Быкова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, говоря о жизни «после бури», о «канунах», «знаке беды», «последнем поклоне», о «доме», «ладе», «братьях и сестрах».

Так о чем же Валентин Распутин уже сказал?

Сказал о деньгах («Деньги для Марии»). О смерти («Последний срок»). О любви и об измене долгу («Живи и помни»). О прощании со старой русской деревней («Прощание с Матёрой»). О милосердии

и доброте («Уроки французского», «Век живи — век люби» и т. д.).

О деньгах, смерти, любви, доброте? Всего-то?

Что ж, поистине это «главное», «решающее» и «вечное». Ну, а как же «налипшая глина» на наших ногах? Тяжесть сегодняшних забот, тревог, неотпуокающая сила социальных страстей, исторической памяти?

К тому же столько ныне написано о прощании со старой деревней, о мудрых стариках и старухах, о болезнях и смертях, — что же тут особенного и примечательного?

Доказывая «особенное», можно было бы сослаться на даты, стоящие под повестями Распутина: шестьдесят седьмой, семидесятый, семьдесят четвертый, семьдесят шестой годы, что означает: многие из написавших про деревенских старух, про черствых городских детей, про прощанье-расставанье с родными избами шли следом, по его пятам. Но существеннее, пожалуй, другое. Часто говорят: «любовь к старой русской деревне», «народные ценности и святыни», «народная мудрость», «народная доброта», и хотя все тут по-русски, понимать можно по-разному и «любовь», и «ценности», и «мудрость». Такие различия естественны; есть — не спутаешь — осо-

бенные оттенки во взгляде на народную жизнь, скажем, В. Белова и Ф. Абрамова, В. Шукшина или В. Солоухина, В. Астафьева или В. Лихоносова. Например, Федору Абрамову казалось, что представления о деревенской жизни «в духе лада, хорового ритма» не точны, и он не мог с ними согласиться. Есть не менее определенный, всегда узнаваемый взгляд Распутина, его собственное понимание народной жизни, ее идеалов, ее реальности и возможностей. Кажется, никто не называл Распутина поэтом деревни и крестьянского сословия; почему-то это никому не приходило в голову, хотя было ли в его книгах что-нибудь, кроме деревни? Кроме деревенских старух и стариков? Кроме всей этой Матёры, уходящей под воду? И все-таки не называли и вряд ли назовут. Может быть, потому, что как художник, он держит сторону не сословия, как бы ни было оно ему дорого, а человека.

Такая святая «односторонность», — кажется, единственная из «односторонностей» — не чревата упрощением жизни, ее строения или «структуры». Не хочу сказать, что это свойство одного Распутина и никого больше, но он едва ли не всегда знал, что стоит чуть ***продлить*** взгляд, и, миновав все внешнее, этнографическое, со-

словное, национальное, выйдешь к тому, что соединяет, роднит, а не сталкивает и разделяет людей. Через Матёру, через старуху Дарью или Настену Валентин Распутин выводит нас к общенародному и общечеловеческому. Его беспокойство за судьбу сельского жителя и русской деревни перерастает в беспокойство за всех нас, за человека наших дней, за единый народ и его будущее. Асфальт ли под ногами или полевая тропа, земля все равно для всех — городских и сельских — одна: земля родины. Всякое упрощение, превозносящее «своих» и умаляющее «чужих», сталкивающее «нравственную деревню» и «безнравственный город», противостоит сложности, слитности и многообразию жизни, как бесперспективная, неплодотворная сила. Плохо, когда о писателе можно сказать: «Он мыслитель: это значит, он умеет показать вещи проще, чем они есть». Этот иронический афоризм к Распутину неприменим. Его деревенский мир сохраняет свою неоднородность и противоречивость; он не сводит ни к чему одному: к праведному и благостному или к темному и злому; он существует такой, какой есть, каким исторически сложился; он под стать окружающему, как окружающий под стать ему, он продолжается городом, как город

продолжается им.

Впрочем, так ли? Совершенно ли так? Очень трудно воспринимать мир таким, каков он есть; наши представления и пристрастия встают между ними и нами; место сомнению: а таков ли этот мир, каким его воспринимаем, каким он «мерещится»? — остается всегда.

Думаю, что Распутину могут быть близки давние (1870) слова Л. Толстого: «…мои доводы строятся не на том, что бы мне желательно было, а на том, что есть, и всегда было… Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть…»

Эти слова предостерегают от чрезмерного настаивания на «желательном» и «должном», от претензий на исчерпывающее и законченное объяснение мира. Одновременно они укрепляют надежду, что смотреть на вещи непредвзято, свободно — все-таки возможно; во всяком случае к этому стоит стремиться.

Сергей Залыгин писал, что повести Распутина отличаются особой «художественной законченностью» — законченностью и завершенностью «сложности». Будь то характеры и отношения героев, будь то изображение событий вроде затопления Матёры, — все от начала и до конца

сохраняет свою сложность и не сменяется логической и эмоциональной простотой каких-то окончательных, неоспоримых выводов и объяснений. Смерть Настены завершает ее драму, но ничего не упрощает, и вечный вопрос: «кто виноват?», столь волнующий всегда читателей, не получает однозначного, как в судопроизводстве, ответа. Как бы взамен нами осознается невозможность такого ответа; мы догадываемся, что все идущие на ум ответы недостаточны, неудовлетворительны; они ничем не облегчат тяжести несчастья, ничего не поправят, ничего в будущем не предотвратят; мы так и остаемся лицом к лицу с тем, что случилось, с этой страшной, жестокой несправедливостью, и все наше существо восстает против нее…

Да что толку, — хочется тут возразить себе же, — что толку в этом протесте души! Но в нем-то, должно быть, и толк, — в этой пережитой нами трагической минуте, вырвавшей нас из нашего быта и времени, в самом нашем несогласии принять эту смерть, примириться с нею, и в том, что приходится принимать, приходится..»

После книг Распутина наши представления о жизни становятся в чем-то яснее, но не проще. Хотя бы некоторые из многих схем, которыми

так хорошо оснащено наше сознание, в соприкосновении с этой художественно преображенной действительностью обнаруживают свою приблизительность или несостоятельность. Сложное у Распутина остается сложным и завершается сложно, но ничего нарочитого, искусственного в этом нет. В сущности, Распутин говорит о том, что всегда занимало людей, о том, что есть и было всегда и с течением лет не освободило от себя человека. Вся новизна — в новизне наших обстоятельств и нашего живого дыхания.

Итак, «Деньги для Марии» — это и в самом деле мучение из-за денег, испытание людей деньгами; «Последний срок» — это и в самом деле ожидание смерти и смерть, испытание любви смертью; «Живи и помни» — это на самом деле измена, низость, человеческое падение, испытание любви этим ударом; «Прощание с Матёрой» — это действительно исчезновение, смерть Матёры-острова, Матёры-деревни, испытание памяти, старых привязанностей, любви этим прощанием, утратой, уходом под воду целого материка Прошлого.

Испытание любви, памяти — отвлеченность? Что-то вроде с натугой подысканного «общего знаменателя», указывающего на отдаленное род-

ство избранных величин?

Такая ли отвлеченность, если люди выпутываются из нагрянувшей беды, пытаются привыкнуть к близкой потере дорогого человека, вынуждены покидать обжитую землю, сжигать дома отцов?

Нет, не восхождение на Голгофу новых мучеников за человечество, не «пограничные ситуации» в экзистенциалистском духе, — это неизменно обыденная жизнь, пусть резко нарушенная (вскрытая недостача, весть о затоплении, дезертирство Гуськова, тяжелая болезнь Анны), но остающаяся прежней по своей обстоятельности, полноте, размеренности и быстро обытовляющая, подчиняющая себе самые резкие факты и неудобные, неприятные события. Никто из героев писателя не осознает, что он чем-то «испытывается», что ему предстоит сделать «выбор» и т. д. Все живут и заняты повседневным, житейским; что бы ни стряслось, жизнь продолжается, и если верно, что она идет «полосами», то это ее «темные» полосы, ну, а за ними непременно явится что-нибудь посветлей и т. д. Да и вообще у Распутина нет мрачной сосредоточенности на чем-то одном: на исчезновении ли Матёры, на преступлении Гуськова, на отчаянии Марии… И

прощальные дни Анны, и последняя осень Матёры, и тайные встречи Настены с Андреем, и даже хлопоты Кузьмы о деньгах для Марии озарены по временам мягким и теплым светом жизни; где и когда только можно, он пробивается, словно среди людей действует тот же природный закон, что не позволяет ненастью зависнуть над нашими головами навсегда. Лишь Настену жизнь не милует, лишь ее мучения непосильны, но это еще вопрос: кто не выдерживает «испытания»? Настена или ближний к ней, окрестный, людской мир, чьего «приговора» она страшится больше, чем смерти?

Виноват ли в чем этот окрестный сельский мир? — почти теоретическая проблема. Какая вина, если общее психологическое состояние жизни предопределено войной, ее писаными и неписаными законами, всей скопившейся за долгие годы суровостью и категоричностью? Но как бы хорошо мы это ни понимали, жалость к Настене нарастает. Недостает, как воздуха, какой-то несбыточной, невозможной, спасительной доброты, сосредоточенной на главном — на сбережении человеческих жизней… Более того — наперекор всему — несбыточное и невозможное начинает казаться возможным и осуществимым.

Пусть недолго так кажется, и спасение не придет, но мысленно-то мы уже воззвали к этой затаившейся доброте, подумали о ней, поверили в нее! Может быть, именно так образуется, скапливается в нас запас гуманности — на будущее? И разве не отрадно, что на лицо Настены не падает привычно-густая, непроглядная тень вины ее мужа, и мы наделяемся способностью видеть это молодое взволнованное лицо в его собственном значении и правоте?

Затерянная в глубине народной жизни женская драма извлечена писателем на свет и отныне входит в общий опыт; она испытывает нас своей психологической и нравственной сложностью, разрушая шаблонное мышление и чувствование, приводя к мысли, что Настена — жертва войны и ее законов. Еще одна жертва. И неродившийся ее ребенок — тоже жертва войны и еще одна единица в списке народных потерь. И если кто-то убежден, что Настена сама кругом виновата (как можно любить такого? не к нему бы ей бежать, а от него! бежать, сообщать, созывать народ и т. д.), то значит, не замечено, не прочувствовано, что при всей немеркнущей ясности должного поступки и переживания Настены приобретают все более неопровержимый нравственно оправ-

данный, хотя и трагически противоречивый характер. Будь она женщиной более «разумной», «сознательной», все происходило бы куда «правильнее», но в Настене железное «следовало бы» боролось с невозможностью «следовать», а универсальному «должному» противостояли единственные в своем роде обстоятельства ее женской судьбы, особенности ее натуры. Она любила и жалела своего Андрея сколько могла, а когда стыд за него, за себя, страх людского «суда» стали сильнее любви к нему, к себе, к ребенку, к жизни, когда все «выгорело, а пепел не молотят», она шагнула за борт лодки посреди Ангары, между двух берегов — берегом мужа и берегом всех…

Это ли не испытание человека? Это ли не еще один конец затянувшейся, далеко, за тридевять земель, — достающей, убивающей войны?

Можно сказать, что Настена жила сердцем: основные герои Распутина вообще чаще живут сердцем, а не умом. У сердца и выбор иной, и происходит иначе, чем выбор умом. Он плохо поддается логическому обоснованию, такой выбор, словно что-то «срабатывает» в человеке, и все тут. Распутин не любит изображать, воспроизводить длинных доводов рассудка, внутренней умственной борьбы; момент выбора, столь важ-

ный для определения сущности человека, как бы смазан, поглощен течением жизни, и человека знай несет и несет дальше, и не понять сразу, как и когда он собою правит, да и правит ли, да и сам ли?

Иногда спохватится человек и подивится, как старая Дарья с Матёры: «Нет… я про себя, прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила… Слишком много со мной не сходится…»

Как же вышло, что «не сходится»? Почему? Сама же она эту матёринскую жизнь выбирала — сердцем, умом ли, — но выбирала когда-то! Или забыто все, и кажется ей, что за нее кем-то выбрано, а ей оставалось работать да жить?

Спрашивай — не спрашивай, ответа в повести нет. Можно только догадываться, о чем сожалеет старая Дарья. Если не «сходится», то кого теперь упрекать? Или вправду всегда так: отдаешься течению и понесет оно тебя, и после не узнать будет, ты ли это, да и того ли хотел?

Во всей повести о Матёре есть тревожная неловкость от того, что люди как бы недостаточно осознанно или не в полной мере распоряжаются собственной судьбой, и им от этого неспокойно, словно они, как люди, что-то полагающееся им недоделывают, какого-то своего важнейшего

предназначения не исполняют.

В «Последнем сроке» Распутин предоставил своим героям едва ли не полную возможность быть самими собою. Привычное, разогнавшееся течение их жизни прервано. Остановка. Но взрыв чувств — слетелись, повидали мать, всплакнули, руками всплеснули, погоревали, — как всякий взрыв, короток. Полегчало матери, вроде бы отпустило, все улеглось, успокоилось, — и разбежались, разлетелись по домам, по конторам, поспешили, укатили… Поплыли дальше. Дальше поволокло.

Никого из детей Анны писатель не «обидел», не обделил ни совестью, ни стыдом, ни любовью к матери, ни другими добрыми чувствами, никого резко не осудил, ни над кем не посмеялся. Нам же сказал: смотрите, присутствуйте, вот мать, дети, корень, отростки… Хотите? — сравнивайте. Судите-рядите… Но сам при этом рук не умыл, не прикинулся вседопускающим, всепринимающим, а дал нам почувствовать странную исчерпанность, разгаданность происходящей жизни, будто все уже произошло и все наперед известно, новостей ждать нечего, осталось лишь не выбиваться из накатанной глубокой колеи, да и зачем выбиваться, куда? Все вроде бы неплохи

— и Варвара, и Люся, и Михаил, и Илья, — вполне приличные люди, и если слишком безропотна Варвара, скучно многоопытен Илья, надоедливо правильна Люся, а простота Михаила не всегда в радость, то сказано же: не судите — не судимы будете, да и вообще, за что осуждать их, обличать за что? Как воспитаны — такие и есть, не хуже и не лучше прочих. А что водку братья пили вместо того, чтобы с матерью посидеть, — так ведь не от равнодушия, — от радости: мать-то ожила, полегчало ей, глядишь, еще поживет-побарахтается!

Когда-то говорили: надо жить так, будто кто на нас смотрит и все видит, как мы и что. Ну, там ангел, надеялись, или еще кто — получше, повыше, поглазастей. Но даже зная, что никто не смотрит, — в двадцатом-то веке?! некому! — воображать, фантазировать, что тебя кто-то видит, — так ли уж абсурдно и бессмысленно? Когда живут в убеждении, что никто ничего ниоткуда не видит, то кажется, что сойдет с рук все…

Дети старухи Анны ходят по дому, разговаривают, ссорятся, — жизнь как жизнь, а им уже предъявлен, уже действует какой-то высший нравственный счет, потому что по обычному счету они вполне приличные люди, вполне… Они думают, что их никто не видит, а их видит худож-

ник» этого достаточно — для справедливости; это он распределил свет и тени так, что поэзия жизни, ее чистота и надежда — в Анне, в ее видениях, воспоминаниях, в отпущенном ей последнем сроке прощания, во всем ее тающем облике. Даже тяжелое и мучительное, а его позади вдоволь, освещено светом любви, то есть полной самоотдаче детям, работе. Что же оставлено тем, кому была отдана эта любовь? Лишь проблески, бледные отражения того света, давних, померкших молодых надежд и желаний; во всем остальном — вялость, срединность, поглощенность собой, усталость.

Писатель сочувствует всем и каждому, он знает силу обстоятельств и влекущего, неспрашивающего течения жизни; он готов жалеть и прощать, но есть предел и прощению. Последняя просьба матери не удерживает детей возле нее; с бодрыми напутствиями они оставляют ее умирать без них. Беда в том, что они не чувствуют того, что было бы естественным чувствовать. Их чувства словно заглушаются в них каким-то инерционным внутренним шумом. Распутин знает, что «недочувствие» (Ю. Трифонов) буднично и малозаметно; ничего не разглядеть, все пристойно, все, кажется, в норме; но тогда-то он считает

своим долгом вмешаться и обнаружить свое художническое присутствие в жизни, которой мнится, что ее никто не видит, не наблюдает, и все-все ей сойдет…

Если у Распутина изображается что-то злое и низкое, то оно чаще всего — стыдливое, неявное, маскирующееся под «доброе» и «должное», обытовленное и обжитое, и почти никогда — открытое, откровенное, громогласное. Собственно, и в повседневном будничном мире первого зла больше, чем второго. Но Распутин — добрый писатель, склонный скорее прощать человека, чем осуждать, тем более осуждать беспощадно. Потому-то редко кому из своих героев он не оставляет шансов на какое-то образумление или «исправление». Андрей Гуськов недаром стоит особняком; может быть, он дался писателю легко, не знаю, но весь он — запечатленная трудность; желание понять случившееся с человеком и необходимость беспощадности образует едва ли разрешимое противоречие, и это тут же снижает свойственный Распутину высокий уровень сложности.

Лишь иногда герои писателя сталкиваются с явлениями и людьми, которые для них в прямом смысле слова непереносимы: это что-то такое, что «объяснить», «понимать» автору нс хочется,

нет на это душевных сил, а есть, осталось только глубокое и резкое неприятие.

Тогда-то мы мгновенно чувствуем, каким гневным и непримиримым может быть этот писатель. Он и в, таких случаях, разумеется, остается художником, но художнического своего пристрастия и решительного выбора не скрывает, не хочет скрывать.

Вспомним, как разрушают кладбище Матёры, как спешат старухи и старики с ребятишками оборонять родные могилы, какой взвивается над островом крик и плач и какими чужаками-пришельцами смотрят разорители, готовые за бутылку водки сокрушить все что угодно…

Да, да, «санитарная очистка» территории, поплывут иностранные туристы по речной глади, а на волнах качается кладбищенская рухлядь, — неудобство и неприятность; это-то матёринцам почти понятно, но как бы объяснить далеким «проектировщикам» раз и навсегда: что бы ни затевали ваши ученые головы, делать-то надо по-людски, не резать по-живому, у хозяев этой сибирской земли спрашиваться, наконец, надо бы приучиться…

Или вспомним, как отчаявшийся, сломленный человек, пьянь горемычная, из рассказа «Не мо-

гу-у» вдруг «звучно, со сластью» кинул в лицо непрошеному «воспитателю» неотразимое, убийственное: «Порож-няк!» Будто не одного его, а всю породу таких припечатал.

Или еще вспомним, как в «Деньгах для Марии» колхозный бригадир Кузьма в кирзовых сапогах и фуфайке угодил в мягкий вагон, и какие вальяжные попутчики ему попались, и что из этого нежданного соседства вышло… И какой тихой болью и скрытой горечью насыщено описание этого дорожного происшествия!

Валентин Распутин знает и это: почти невзначай, походя униженное достоинство трудового человека, уверенное громыхание «порожняка» по дорогам жизни. Не отсюда ли — тревожное ощущение, что основное, главное порою теснится второстепенным, подсобным, и нарушается как бы сам коренной порядок вещей?

Он вообще оказался зорким писателем. Нравственно и социально зорким. При стыдливом молчании литературы о деньгах как «двигателе» жизни он сказал ясно, что деньги не утратили своего опасного могущества и могут подчинять, искажать, преображать человека. После долгого небрежного обращения литературы со смертью он одним из первых заставил снова задуматься

над тем, что же она такое, смерть, для уходящего и для тех, кто остается жить. Вслед за А. Довженко («Поэма о море») он по-своему и в новом историческом свете представил нам последствия великих преобразований природы для современного человека, его морали него будущего. Он попытался даже о войне и ее жертвах сказать необычным образом — через судьбу молодой женщины, чей муж оказался «бегляком», дезертиром.

И все же Валентин Распутин не был бы тем Валентином Распутиным, которого знает и ценит читатель, если б вся эта драматическая обыденность наших и прошлых дней, ее реальное сложное содержание не были бы включены им в целостное поэтическое миропонимание, в высокий и светлый строй чувств, поддерживающих, утешающих и возвышающих человека… Алесь Адамович назвал это миропонимание «светоносным»…

Что из того, что люди безалаберные, замороченные, вроде материнского Петрухи, или вполне пристойные, вроде правильной Люси, не способны к зрению, одушевляющему, поэтизирующему мир? Это вообще редкое зрение, и человек переживает счастливые минуты, когда оно в нем приоткрывается; беда в том, что в Петрухе и Люсе

оно уже, кажется, не откроется никогда; разве что мелькнет о нем воспоминание и, смягчив ненадолго душу, погаснет… Поэтическое зрение существует обычно помимо таких персонажей; оно принадлежит автору, им щедро наделены лишь центральные герои — Анна и Дарья, Настена и Кузьма. Такое зрение тем сильнее обнаруживает себя, чем настойчивее притязания бесцветности, безличности, практицизма, нравственной неразборчивости.

Дети Анны не в состоянии увидеть свою мать так, как видит ее автор, то есть им оставлено их зрение и почти ничего сверх того, и это справедливо.

Впрочем, автора ли это земные повседневные глаза, когда видим старуху Анну и то, чем жива она и что доживает? Или это то самое истинно художественное зрение, что, кажется, растворяет в себе личность художника и, принадлежа ему, принадлежит всем — лучшему, что есть в нас, становясь поистине «чистым оком человечества» (П. Флоренский), не замутненным ничем посторонним и посредничающим…

Дети видят: мать, из-за которой «пришлось напрасно приезжать», «еще вчера кое-как лежала, а за сегодняшнее утро уже приспособила себя

сидеть — ну совсем, как здоровый человек».

А можно видеть иначе: «Она (Анна. — И. Д.) походила на свечку, которую вынесли на солнце, где она никому не нужна».

Поэтический образ меркнущей человеческой жизни и боли за нее (на крылечке при ярком свете дня — как свечка!) и — застрявший в самом начале восприятия практицизм обычного, «реального» сознания («приспособила себя сидеть»» — слава богу, почти здорова, можно уезжать!).

Два мира сосуществуют: материально-четкий, фактический, доступный всем и каждому, и не захочешь — наткнешься, упрешься, и — другой, поэтически-смутный, неосязаемый, полный неожиданного смысла, почти мираж, игра чувствительного воображения…

Два мира существуют рядом и вместе, без границы, и второй мир иногда прорывается в первый, как частица истины, как недостающее тепло… Вдруг скажет Михаил о матери: «Вроде загораживала нас, можно было не бояться…» Или еще так: «И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают».

Вот оно что! — она их, таких больших, давно заматеревших детей своих, от смерти ***загораживала***! И день, что ***дали ей***, тоже не утлым,

пошлым смыслом помечен, а какой-то явной справедливостью, на которую тот же Михаил в глубине души все-гаки надеется.

Старуха Анна видит, что сыновья заняты пьянством, «возятся в нем, как мухи в отраве», но ни этой старой бедой, ни ссорами детей полна ее голова; другое ей открыто, другая близь и даль… Ее ли это Илья стоит у кровати, — сколько «нового мяса наросло на нем», сколько чужих людей ходило с ним бок о бок! — он ли это, ее ли сын, или «ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней, и теперь они живут в одном теле»? Она ли это сама среди детей своих, как всегда, как обычно, или вправду ее «на руках будто кто держит», и ничего под нею «твердого нету», а ей почему-то совсем не страшно, словно «так и надо»? И что за худая старуха с протянутой рукой мерещится ей, и почему, «не владея собой», она ответно протягивает ей руку, здоровается и чувствует, что «рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой, приятной силы, от которой оживает все ее немощное тело»? Но тут звонят колокола» опять наступает «живое утро», и она снова и снова думает о бесчисленных ушедших днях, где было много работы, много утрат» и все вместе «было то радостью, то мучени-

ем — мучительной радостью». Ей представляется, что жила она «как дерево в лесу» — безотлучно, как жила ее мать… «Своя жизнь — своя краса»…

Зачем писателю так долго блуждать в сумерках усталого, затихающего сознания? Столь бесконтрольно и безбоязненно? Не затем ли, чтобы через художественную эту гипотезу приоткрыть внутренний мир старой русской крестьянки, попытавшись понять, чем он полон, какой мыслью, какой памятью? И воспроизвести таким образом «таинственную» жизнь души, а точнее — упрямую работу еще живого сознания, желающего сознавать, мечтать, искать правду и смысл — до конца, до последней щелки света…

Духовный мир Анны становится средоточием нашей надежды на неизбежное и вечное торжество душевной чистоты, опрятности, трудолюбия, самоотверженности.

По Николаю Заболоцкому: «И только души их, как свечи, //Струят последнее тепло…»

Изображая мир Анны, а позднее Дарьи Пинигиной, Распутин верит: духовный потенциал человека очень высок. Не всегда, не повсюду, не во всех, но высок, и именно с этим следует считаться. Причем не в каких-то отдельных особах, чем-либо примечательных, а вообще высок

— в трудящемся, сознающем свое достоинство человека, в народе. Он верит, что память, совесть, любовь — вечно живое пламя.

В «Прощании с Матёрой» люди много говорят, словно намолчались. В проповедничестве Дарьи, в накале и смелости ее речей есть что-то от духа раскольничьих скитов, от непокорной горячей крови героев таких сибирских писателей, как А. Новоселов и Г. Гребенщиков. В Дарьином говорении слышится и другое, восходящее не для нее — для автора и для нас — к знакомому: «Смирись, гордый человек!..» Но, думаю, даже тогда, когда Дарья настаивает на малости человека («как были маленькие, так и остались»), отвергает его притязания на небывалую роль («Мы не лутчей других, кто до нас жил»), страшится победы «железа» и машин, она не столько смирения хочет, от которого сама, возможно, немало потеряла, сколько здравого смысла, простого и ясного понимания, что жизнь всяким новым поколением подхватывается, а не начинается сызнова, и что жить нужно «своим ходом».

Вам Матёру «старшие поручили, — говорит она внуку, — чтоб вы жисть прожили и младшим передали… Старших не боитесь — младшие спросят…»

Дарья пытается напомнить о связи всех — отживших, ушедших и живущих. И тех, кто придет после.

От Дарьиных переживаний за умерших близких, как за живых, боящихся идти «под воду» (затопление же!), веет поэзией растревоженного воображения и сильного сострадающего чувства, Кажется, никаким доводам рационализма те чувства и воображение не унять, не остудить; они дороги писателю, и он находит для их воплощения слова возвышенного, почти торжественного лада, как бы пригодные для подъема, прорыва сквозь плотную пелену видимого и явного в «запределье»…

В романе Р. П. Уоррена «Потоп» провинциальный городок Фидлерсборо, как и деревня Матёра, ждет большой воды: он тоже в зоне затопления. В несколько строк, к слову, сообщается, что все захоронения перенесены. Здесь иные переживания и свои проблемы. Тут — горечь и тоска по жизни, которая, может быть, и нуждалась в «потопе», как очищении от скверны, но, вполне может статься, еще покажется когда-нибудь «благодатью»… Но вот чего в этом романе нет совсем: прощания с миром, уходящим под воду, как с живым и единым, наделенным душой, памятью,

неотторжимым высоким смыслом.

Символически многозначные образы несокрушимого «лиственя» и загадочного Хозяина острова придают Матёре какую-то природную независимость, словно у нее и в самом деле была своя отдельная жизнь и свое предназначение. Высшая точка прощания с Матёрой — обряжание Дарьей своей избы; будто это проводы в последний путь человека, будто избе без «чистой рубахи» тоже никак нельзя. Найдено, кажется, самое полное выражение окончательности, бесповоротности этого расставания; Дарья простилась и готова теперь ехать, плыть, жить в каменных хоромах, — пусть делают теперь с ней что хотят…

Внутренний мир Дарьи рядом со своим внешним проявлением — густым, грубоватым просторечием — воспринимается как нечто заповедное, почти праздничное, как «белая горница» души. Можно предположить, что многое оставлено за порогом той горницы, выметено. Но писатель думает, что душа Дарьи, оставаясь наедине с собой и вдали от других, то есть в лучшие свои минуты, должна быть именно такой, легкой, крылатой, способной «бесшумно и плавно» скользить над землей, «чутко внимая всему…». И душа Дарьи

«скользит», воспаряет, — последняя ее отрада и счастье.

В конце повести тоскливо воет Хозяин, туман повисает над водами и землями. Будто сбылись предчувствия старух, и они, ненужные, брошенные, затерялись в мире: почти потоп, почти конец света…

Разумеется, ничего страшного; туман рассеется, придет катер, доставит старух к новой земле обетованной и т. д. Но точка поставлена на тумане, на ожидании и тревоге, и теперь — долгие десятилетия — распутинским старухам в той утренней сырой непроглядности перекликаться и перекликаться.

Неоспоримое право писателя — передать свою тревогу; наше дело — в какой мере разделять ее и принимать ли всерьез. Многочисленные отклики на повесть показали, что тревога Распутина не напрасна и, наверное, еще долго не будет напрасной. Писатель предостерегает против дерзкого обращения с природой, против самоуверенного вмешательства в заведенный ею порядок с целью оперативного улучшения — упрощения — приручения. Но еще важнее, что писатель говорит о необходимости осторожного обращения с самим человеком, его судьбой и укладом жизни. Может

быть, небрежение природой как-то связано с небрежением человеком? Такая связь не всегда видна, но, кажется, существует. Не потому ли истинный художник начинает свою защиту любых ценностей живого мира и культуры — с человека? И другая последовательность высокому искусству противопоказана?

Старая Матёра исчезает; ее больше нет; в этом своя неизбежность. Если ничего в мире не трогать, не менять, не строить — сидели бы при лучине; это понятно. Печаль в том, что за образом Матёры — материк прежней крестьянской жизни, а ее, как соху или прялку, в музее не сбережешь, не выставишь; это человеческая даль и глубина, свой опыт, своя культура, и какой бы добросовестной ни была наша память, сбережет ли она все лучшее, упомнит ли, передаст ли дальше, не как реликвию, а как живой обычай, как трудовую и нравственную привычку?

Валентин Распутин знает, как писать просто, строго и точно, придерживаясь «фактов», рассказывая то, что было, и — ничего сверх, никаких фантазий и «воспарений» души. И никаких «прорывов» в «запределье». Лучшее у него в этом роде — рассказ «Уроки французского». Нигде потом он не был таким сдержанным; слезы рвались

— не давал воли слезам; мальчик из голодного военного детства должен был навсегда остаться таким, каким был тогда; он не смел жалеть и щадить его больше, чем жалела и щадила жизнь, если у нее это получалось; в рассказе-воспоминании от первого лица это трудно, но он сумел в самом способе, стиле рассказывания воплотить мальчишеский характер — замкнутый, самоуглубленный, одинокий, воспитанный в суровых правилах сибирского крестьянского обихода: не жалуйся, не проси, не жди и не принимай помощи от людей, терпи и иди своей дорогой… В доброте Лидии Михайловны, учительницы французского, было опровержение «правил»: ты не один, кому-то ты виден в школьной толпе со своими ссадинами и хмурыми глазами, ты виден, и тебе помогут. Отчего так — при всей сдержанности слога, не «пускающего» в душу мальчика, все сильнее чувствуешь, как она болит, растеряна, как медленно отогревается?.. Или секрет в том, что обстоятельства и подробности той бедствующей жизни, исторически точные и всегда важные, сами по себе выдают, сколь велика сосредоточенность мальчика на самих основах своего существования-выживания, причем достойного, из последних сил достойного

и разумного, — так воспитан! И что творится в этой детской душе, нежданно обласканной и согретой, — тоже становится доступным нашему воображению и глубокому сопереживанию.

Может быть, Распутин всегда был чуточку «мистическим» писателем. Жизнь для него по сей день сохраняет некоторую таинственность, непознанность; что-то в ней не поддается твердым логическим объяснениям. Учительница французского тоже не вполне поддавалась логике; она так и уехала, оставшись «неразгаданной», — добрая фея, игравшая в пристенок на деньги со своим учеником… Ну, а сколько снов, предчувствий, душевной зависимости от ветра, снега, погоды в «Деньгах для Марии»? А сам по себе «последний срок» Анны, «дарованный» ей за безгрешную жизнь? А Хозяин острова, провидящий будущее Матёры? Да и в очерке «Вниз и вверх по течению» его герой — молодой писатель — старается сохранить в себе детское ощущение «чистого и ветхого духа тайны», витавшего над речным простором, и враждебно думает об унылом восприятии мира как чего-то простого и ясного, вроде сколоченного собственными руками ящика. Наконец, явились рассказы «Век живи — век люби», «Что передать вороне?» и «Наташа», где в разной форме и в

разных вариантах присутствует чувство, что человек — это еще не все, что он о себе знает, что дух его несовместим с придуманными «ящиками» и что жизнь без «тайны», жизнь «разгаданная», скучна и бедна.

В «Наташе» Распутин пишет: «все разгадать нельзя, да и не надо; разгаданное скоро становится ненужным и умирает, погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись; мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко».

Нравится нам или нет, но такое настроение живет в писателе; в новых рассказах оно заметнее, чем прежде.

Пятнадцатилетний Саня («Век живи — век люби») вдруг чувствует в таежном пространстве могучее дыхание, волю и притяжение природы, может быть, космоса, смутно слышит в себе движение какой-то давней словно бы не совсем своей, глубоко залегающей памяти, и ему становится трудно себе представить, что не эти властные силы природы, а всего лишь «ветер обстоятельств» будет скоро управлять его жизнью и примется гнать ее по дороге, как какое-нибудь

перекати-поле…

Саня наделен сложной мыслью, но выражена она в форме, может быть, излишне завершенной, «гладкой» и «взрослой», словно бы она от рождения такова и облечься в слова ей просто и легко. Какие-то словечки, фразы («слишком вышен и всеславен был он, этот день» и т< п.) ясно говорят, что авторское соучастие в мыслях и чувствах юного героя огромно и не скрывается. Утрачена непосредственность? Пусть! — может сказать автор. — Это литература, условность неизбежна, таковы правила игры. Сегодня я чувствую этого мальчика именно так, я волен назвать то, что не мог назвать он тогда, волен дать имена всему, что он пережил! Я — в нем, я — около него, и я здесь, в сегодняшнем своем дне, и отсюда смотрю на него…

Все верно, но разве художественная сила в рассказе от «вышнего» и «всеславного», от добавочной, приставной этой «духовности»? А не от того, что реалистически точно написана сама Санина жизнь; нежданная каникулярная самостоятельность, явление Митяя за «трешкой», поход с ним и с неким дядей Володей в тайгу, разговоры взрослых, узнавание взрослых? И, конечно же, переживание Саней тайги, ее величия

и могущества, своей малости и затерянности. И — осквернение этой поэзии, чистоты, покоя. Внезапное, как удар исподтишка.

Отныне Саня знает, что осквернение, предательство — тоже жизнь. И с этим знанием ему жить дальше.

Во сне Саня слышит, как «шли из него» и «звучали в нем разные голоса». Они были узнаваемы, они были его голосами, «и только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть».

Саня проснулся «в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это взялось?»

А вот взялось, отозвалось, повторилось. Вторглось, не пощадило. Уже освоено его сознанием, языком, слухом…

Среди драм и разочарований нашего обтерпевшегося века — это ли драма? Еще не то услышит, узнает, откроет этот умненький, чистенький Саня, еще не та подлость, не то коварство станут подстерегать его и опекать! Но Распутину дорога память о той чистоте, что была и остается, повторяется в юных душах, словно сама природа человеческая настаивает на ней и всякий раз заново подтверждает ее наперекор всему, что не

преминет последовать…

Давно ли Саня сидел у костра своей первой таежной ночью и спрашивал себя: а не для того ли эта тьма, чтобы «можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить?» Не потому ли он не спит, что что-то должно ему «открыться»? И ему казалось, что «что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это». Потом он вдруг понял, что его не рассматривают, а «это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения». Дважды «широким вздохом вздохнула печально» тьма, и на Саню «дохнуло звучанием исполински-глубокой затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову — отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи». На несколько мгновений Саня «потерял себя» и не понимал, то ли остался тут, то ли «отлетел куда-то», но «скоро все стало на свои места», сделалось легче, и захотелось спать.

Приключения души: что «вошло» и что «вышло», каков «обмен» — неясно и останется неясным, но «сообщение» установилось. Потрясение, испытанное мальчиком посреди ночи и тайги, вполне может быть выражено и так. Почему нет? Мало ли нам воображается и чудится всякого? Предположим, что за туманными, загадочными, возвышенными словами — острейшее ощущение принадлежности мальчика Природе, Космосу и неразрывной с ними связи. И вместе — чувство избранничества, призванности своей «для какого-то исполнения». Будем считать, что это очень естественное, поэтическое и пантеистическое восприятие мира, и если в нем сквозит что-то «мистическое», то лишь оттого, что в природе по сей день много скрытого и непонятного, а точнее — непонятого. И все же «возвеченный» зов и все слова того же стилистического и образного ряда — не из художественно-безупречных; они кажутся распутинскими и только распутинскими, но в сущности, они, может быть, — данники распространившегося веяния? И «зов», и «всеславный» день с его «огромной неизъяснимостыо», с «загадочной» «неопределенностью», как пишет Распутин, не поддаются никакому «умственному извлечению из себя», и в этой неподвластности

уму, в непознаемости тоже есть нечто знакомое и ныне популярное. Правда, к явлениям, которые плохо поддаются «умственным извлечениям», в какой-то мере относится поэзия. Не потому ли все таинственно-запредельное живет в рассказе на правах поэзии, хотя и несколько риторической?

Но «мистическое» настроение длится недолго, оно оттесняется жизнью, а грохот отброшенного оцинкованного ведра — в таких ягоду не держат! — заглушает его, кажется, окончательно. Никто, впрочем, ведра не отбрасывал; ягоду вымахнули под откос, и было даже слышно, как она «зашелестела, скатываясь». А кажется почему-то, что был грохот — пустые отброшенные ведра умеют греметь…

Итак, был праздник — нет праздника, была поэзия — опрокинута, разрушена; остается человек, который видел, знал, приберегал, приберег, объявил, восторжествовал: «Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить».

Не знаю, что «вошло — вышло» из космоса и что это сулит Сане, но вот «грязные и грубые слова» уже точно здесь, уже в нем и ужасают его, и никакой космос, никакие «неизъяснимые» силы не помогут ему преодолеть эту грязь и жестокость. Остается полагаться на себя. На кого еще

полагаться человеку? От кого ждать помощи? Остается полагаться на себя да на людей и от людей ждать помощи. Больше неоткуда. «Дяди Володи» и прочие учителя жестокости и безразличия не переводятся, но все равно — больше неоткуда.

Если новые рассказы Валентина Распутина «светоносны», то не от того ли, что в них есть и побеждает свет не «запредельный», не из «вышних» сфер, а здешний, земной, но продленный, пробивающийся, хоть немного, но дальше прежнего, свет истины? Истины, необходимой для продолжения жизни и дела, для творчества, для любви к детям, к человеку, для их защиты, для долгого мужества и самоотверженности?

«Деспотизм и тирания чистого духовного парения» (И. Золотусский) в рассказе «Что передать вороне?» уличены Распутиным в своей внутренней неправде, в своей непомерной эгоистической сосредоточенности. Весть о болезни дочери, как наказание, разом обрывает одинокое томление героя, возвращая к реальности. Эта весть так же внезапна и прибережена к концу рассказа, как «удар», доставшийся Сане. «У нас нет оснований сказать, что с болезнью дочери вторгается какая-то докучливая реальность, мешающая

духовной свободе человека. Наоборот, эта реальность наполняет свободу смыслом. Она говорит, что «духовность» и «духовная свобода» ничего не стоят, если некого любить, некого оберегать и нечего защищать.

Возможно, Распутин напомнил нам и о том, что чрезмерно занятый собой, «воспаряющий» человек словно бы нарушает постоянный внутренний закон жизни, невольно, не ведая о том, разрывая какие-то незримые связи, ослабляя защищенность близких и родных существ, и расплата не заставляет себя долго ждать.

Так как же быть с «вечными вопросами», с «вечными загадками»?

Есть такая точка зрения, что всякий законченный текст, исторический, художественный и т. д., есть ответ на вопрос или группу вопросов.

Чтобы «прочесть» текст, нужно понять, на какие вопросы он пытается отвечать.

Может быть, «вечные» вопросы старухи Анны или Настены — это то, из чего родились повести Распутина, его «ответы». И остальное — тоже его «ответы» мальчику Сане, старой Дарье, самому себе.

Это только кажется, что старуха Анна ждет, что кто-то ей ответит, для чего она жила и «скручи-

валась в веревку».

Герои Распутина живут, и в том, как они живут, что видят, понимают, думают, чувствуют, помнят, мы вслед за писателем находим все, что можно ответить.

Возможно, время что-нибудь уточнит, и будущее разглядит, вычитает и поймет что-нибудь сверх нашего, а наши привычные меры — перемерит. Но, может быть, иногда и в самом деле нужно лучше спрашивать, то есть чуть конкретнее и точнее? И с большим доверием к силе, к возможностям, к «полету» человеческой мысли, к работе человеческого ума? И тогда еще убедительнее будут ответы? Жизненно необходимее для человека, его решений и судьбы, для его дел и проектов?

Валентин Распутин всем, что написал, убеждает нас, что в человеке есть свет и погасить его трудно, какие б ни случались обстоятельства, хотя и можно. Он не разделяет мрачного взгляда на человека, на изначальную, неустранимую «порочность» его природы. В героях Распутина и в нем самом есть поэтическое чувство жизни, противостоящее низменному, натуралистическому ее восприятию и изображению.

Старый «лиственъ», крепивший Матёру-ост-

ров к дну реки, в земле, что-нибудь да значит; думаю, даже уверен, что он не отпустит «дух» надолго в «вольный» и «запредельный» полет. У наших прав и наших правд — земные оснрвания и «корни», и на «вечные» вопросы никто, кроме человека, кроме художника, не ответит. Это только кажется, что такие вопросы «уносятся ввысь», все они — здесь, с нами, всегда, и нам на них — поколению за поколением — в меру сил и в меру дел своих — отвечать. В меру разума своего…

Разве придумано что-нибудь более надежное, разве есть другой выход?.

Игорь Дедков

INFO

Распутин В. Г.
р 24 Век живи — век люби. Повести. Рассказы. — М..: Известия, 1985. — 576 с., ил.

Р 4702010200-073/074(02)-85*078-85 подписное
ББК84Р7
Р2

Валентин Григорьевич РАСПУТИН
ВЕК ЖИВИ — ВЕК ЛЮБИ

Приложение к журналу «Дружба народов»
Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой
Редакторы Е. Абрамович, Н. Гайдукова
Художественный редактор И. Смирнов
Технические редакторы В. Новикова, А. Гинзбург
Корректор Т. Низамова

ИБ № 918
Сдано в набор 07.12.84. Подписано в пе-

чать 26.06.85. А 04987. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 17,0. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр. отт. 28, 77. Уч. изд. л. 30,11. Тираж 380 000 экз. Заказ 168.

Цена 2 руб. 20 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Таврида» Крымского обкома Компартии Украины, 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства «Звезда», 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34. Тираж 380 000 экз. Зак, № 7184

.....

Scan Kreyder — 20.11.2014 STERLITAMAK
FB2 — mefysto, 2023